

Казенное общеобразовательное учреждение
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Няганская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья»

Согласовано
на методсовете
протокол от 12.02.2019 № 5

Книга для чтения

11 класс

Составила: Шилина Алеся Борисовна
учитель русского языка и чтения,
высшая квалификационная категория

Нягань, 2019 г.

От составителя

Настоящий сборник для чтения составлен для учащихся 11 класса с ограниченными возможностями здоровья.

Содержание материала учитывает необходимость следования принципу практической направленности обучения, что побуждает использовать в обучении произведения, содержащие описание жизненных ситуаций, интересных для обучающихся 11 класса. С этой целью используются фрагменты устного народного творчества, классических произведений отечественной и зарубежной литературы, доступные им содержания и уровня сложности с учетом разных познавательных возможностей учеников, изучение которых направлено на развитие познавательных интересов учащихся, на расширение кругозора, на обогащение словарного запаса; умственному и всестороннему развитию. Изучаемый материал носит характер эстетического, нравственного и патриотического воспитания.

Данный сборник рекомендуется использовать в качестве основного материала на уроках в 11 классе школы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

«Книга для чтения» составлена на основе программы по литературному чтению для 11 класса «Литературное чтение и развитие устной речи из сборника «Программно-методическое обеспечение для 10 – 12 классов с углубленной трудовой подготовкой в специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждениях VIII вида» под редакцией А. М. Щербаковой, Н. М. Платоновой.

Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю).

ВВЕДЕНИЕ

ОБРАЗНОЕ ОТРАЖЕНИЕ ЖИЗНИ В ЛИТЕРАТУРЕ О КНИГЕ И ЧТЕНИИ

В ДОРОГУ ЗОВУЩИЕ

К книге надо относиться как к жизни. Ее надо читать собственными глазами. Недоверчиво. Рассматривать. Выискивать в ней точное знание. И идти от книги к книге. Ведь книга — это только дорога.

Вот вы идете по тропинке, но если хотите пересчитать деревья, узнать, какой же это лес, то надо уходить с тропинки. И вот этот переход — углубление ваших знаний, составление примечаний, проверка.

Хороших книжек, таких, которые непременно нужно прочитать, немного, а мы прочитываем их наспех, и потому у нас возникает ошибочное ощущение, что мы их уже знаем. Мы этим портим себе чтение.

Книгу должно рассматривать так же внимательно, как часовщик рассматривает часы и шофер — машину.

Не надо пугаться, что написано уже столько книг. Все равно, мол, не прочитаешь. Если вы верите в себя, то количество вещей, которые вы запомните, будет вам неоднократно вспоминаться. Вы будете идти все дальше по жизни, а книги будут идти с вами вместе и будут с вами разговаривать.

Поэтому надо запастись книгами в эту дорогу.

Пушкин умер молодым. Но он много читал и все время изменялся. И когда вы попадаете в мир Пушкина, вы удивляетесь тому большому количеству вещей, которые он знает. Широте его интересов. Его как будто иной раз странному любопытству. И именно умению читать. Серьезному отношению к чтению.

Первое дело — не бойтесь читать много. Не бойтесь разбрасываться в чтении. Каждая книга пригодится.

Когда вы что-нибудь строите, шьете, вам надо иметь материал, нитки. Если вы что-нибудь сколачиваете, нужен инструмент, гвозди, дерево. Для того чтобы жить и развиваться, надо знать необыкновенное количество книг.

У Гоголя есть изумительные записи. Он читал и составлял свои словари. Он, например, записывал посуду, какая есть в России.

Литература открывает мир! Мне говорил казахский писатель Нурпеисов: «Ну что я знал раньше? Свою деревню и на два дня конского бега кругом нее. А книги открыли мне мир».

Есть справочный аппарат к собраниям сочинений Толстого. И, просматривая его, даже трудно себе представить, какое число людей он знал

и сколько читал. И держал в памяти. Он читает Жюль Верна для детей, а размышляет, что такое тяготение, что такое невесомость в космическом пространстве. Он умеет брать из книги больше, чем в ней написано. Книга для Пушкина и для Толстого — предмет для мысли, материал для мысли. Они на ней не останавливаются, она их как бы толкает вперед и дальше. И дальше от нее уходят.

Лев Николаевич говорил, что самый важный человек — это тот человек, который с тобой говорит вот сейчас. А самое важное время — это сейчас. И книга, которую читаешь сейчас, — самая важная.

Из размышлений В. Б. Шкловского

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Вы прочитали выдержки из статьи «В дорогу зовущие» известного русского критика, писателя Виктора Борисовича Шкловского.
2. Почему он называет книгу «дорогой»? Как советует рассматривать и читать книгу? Чего не надо бояться? Как относились к книге Пушкин, Гоголь, Л. Толстой?
3. Что из размышлений В. Б. Шкловского вам показалось особенно важным для каждого читателя?
4. Какую книгу считал Л. Толстой самой важной?

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

Удивительный мир устного народного творчества возник в давние времена, когда люди поклонялись силам природы, не умея объяснить их. Они не понимали, почему день сменяется ночью, гремит гром и сверкает молния, почему одни растения и животные помогают людям, другие — вредят им. Народ хотел понять всё, что происходит вокруг, хотел научиться управлять силами природы и не зависеть от них.

Мечты и надежды людей на лучшую жизнь, их вера в справедливость и победу над злом нашли отражение в сказках, былинах, песнях, пословицах и поговорках, которые передавались устно из века в век, от одного поколения к другому. Позднее их стали собирать и записывать. Теперь мы можем прочитать любое произведение, которое когда-то можно было только слушать.

Давайте вспомним о различных видах устного народного творчества.

Пословицы и поговорки — один из видов народного творчества.

Пословица — это краткое высказывание, подбираемое к разным случаям жизни. **Поговорка** очень близка к пословице, но в отличие от пословицы не выражает законченную мысль, а лишь намекает на неё. Так, например, если мы говорим: «**Чужими руками жар загребать**» — это поговорка, а если добавим к ней слово «легко», она превратится в пословицу «**Чужими руками легко жар загребать**». В поговорке есть лишь намёк, а в пословице — вывод. Так что прав народ, говоря: «**Поговорка — цветочек, а пословица — ягодка**». В пословицах и поговорках заключается мудрость народа, его отношение к труду и лени, добру и злу, правде и лжи, мужеству и трусости, любви и ненависти. По любой пословице или поговорке можно составить целый рассказ, и, наоборот, смысл рассказа часто можно уместить в короткой пословице или поговорке.

- *Какую пословицу вы считаете главной для себя? Объясните почему.*
- **Не зря говорится:** «Пословица недаром молвится. Пословица вовек не сломится».

Прочитайте пословицы.

Определите их общую тему.

Объясните смысл каждой пословицы.

Век живи — век учись.

Ученье лучше богатства.

Кто грамоте горазд, тому не пропасть.

Корень ученья горек, да плод его сладок.

- *Помните ли вы ещё какие-нибудь пословицы об ученье?*

Народная песня — это небольшое музыкально-поэтическое

произведение. Она выражает мысли, чувства, надежды людей. «Покажите мне народ, у которого бы больше было песен, — писал Н. В. Гоголь. — Под песни рубятся из сосновых брёвен избы по всей Руси. Под песни мечутся из рук в руки кирпичи и, как грибы, вырастают города. Под песни баб пеленается, женится и хоронится русский человек...» Песни бывают разные: хороводные, колыбельные, лирические, исторические, шуточные.

- *Вспомните, какие народные песни вы знаете.*

Былина — героическое сказание, сложенное народом Древней Руси.

Герои былин самоотверженно преданы Родине, своей земле, народу. Это пахарь Вольга, о котором в былине воспевается важность крестьянского труда. Это купец-гуслияр Садко, совершающий далёкие путешествия, но преданный только родной земле. Это отважные воины Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алёша Попович, которые бьются с врагами и побеждают их ради спокойствия и благополучия Руси и её народа.

- *За что народ своих героев назвал богатырями?*

Сказка — это рассказ о вымышленных событиях, о том, чего не бывает. Сказки могут быть волшебные, бытовые, о животных.

В волшебных сказках на пути главных героев стоит очень много преград и опасностей, которые они должны преодолевать, для того чтобы обрести счастье, любовь, славу и богатство. И помогают им в этом волшебные силы: добрые колдуны и феи, Сивка-Бурка, жар-птица. Нередко в руки героя попадают чудесные предметы: скатерть-самобранка, ковёр-самолёт, гусли-самоигры и др. Побеждают в этих сказках только добрые и умные герои.

- *Вспомните названия волшебных сказок, которые вы уже читали.*
- *Какие препятствия преодолевали герои сказок?*

Волшебное почти всегда присутствует и в сказках о животных. Животные говорят на человеческом языке, совершают невероятные поступки. И всё, что происходит, кажется нам естественным, потому что это сказка.

- *Вспомните названия сказок о животных. Кто герои этих сказок?*

В бытовых сказках мы почти не встречаемся с волшебством. В них рассказывается о богатых и бедных. Как правило, в этих сказках богач обманывает бедняка, но справедливость всегда торжествует, и находчивый бедняк с честью выходит победителем из любых ситуаций.

- *Какие бытовые сказки вы уже читали?*

Во всех сказках, будь то волшебные, о животных или бытовые, неизменным остаётся одно — добро побеждает зло.

Мир устного народного творчества бесконечен и разнообразен, как

бесконечна народная мудрость. Каждый раз, соприкасаясь с этим удивительным миром, мы открываем для себя что-то новое, находим ответы на вопросы, делаем выводы, учимся жить.

- *Объясните, что такое устное народное творчество. Назовите его жанры.*
- *Вспомните, как построена сказка. Что такое зачин? трёхкратные повторы? концовка сказки?*

СКАЗКИ

Вот какие премудрости есть у народной сказки, а без них и сказка не сказка. Запомним их, будем замечать, какие есть в сказках *присказки, зачины, концовки, постоянные эпитеты, повторы* («жил-был», «ехали-ехали», «шёл-шёл»), как они украшают сказку, помогают её запоминать, сохранять важную особенность сказки — напевность. Будем не рассказывать, не пересказывать, а *сказывать* её, как делали это сказочники.

КОТ И ЛИСА

Русская народная сказка

Жил-был мужик. У этого мужика был кот, только такой баловник, что беда! Надоел он до смерти. Вот мужик думал, думал, взял кота, посадил в мешок и понес в лес. Принес и бросил его в лесу - пускай пропадает.

Кот ходил, ходил и набрел на избушку. Залез на чердак и полеживает себе. А захочется есть - пойдет в лес, птичек, мышей наловит, наестся досыта - опять на чердак, и горя ему мало!

Вот пошел кот гулять, а навстречу ему лиса. Увидала кота и дивится: «Сколько лет живу в лесу, такого зверя не видывала!»

Поклонилась лиса коту и спрашивает:

- Скажи, добрый молодец, кто ты таков? Как ты сюда зашел и как тебя по имени величать? А кот вскинул шерсть и отвечает:

- Зовут меня Котофей Иванович, я из сибирских лесов прислан к вам воеводой¹.

- Ах, Котофей Иванович! - говорит лиса. - Не знала я про тебя, не ведала. Ну, пойдём же ко мне в гости.

Кот пошел к лисице. Она привела его в свою нору и стала потчевать разной дичинкой, а сама все спрашивает:

- Котофей Иванович, женат ты или холост?

- Холост.

- И я, лисица, - девица. Возьми меня замуж!

Кот согласился, и начался у них пир да веселье.

На другой день отправилась лиса добывать припасов, а кот остался дома.

Бегала, бегала лиса и поймала утку. Несет домой, а навстречу ей волк:

- Стой, лиса! Отдай утку!

- Нет, не отдам!

- Ну, я сам отниму.

- А я скажу Котофею Ивановичу, он тебя смерти предаст!

- А кто такой Котофей Иванович?

- Разве ты не слыхал? К нам из сибирских лесов прислан воеводой Котофей Иванович! Я раньше была лисица-девица, а теперь нашего воеводы жена.

- Нет, не слыхал, Лизавета Ивановна. А как бы мне на него посмотреть?

- У! Котофей Иванович у меня такой сердитый: кто ему не по нраву придется, сейчас съест! Ты приготовь барана да принеси ему на поклон: барана-то положи на видное место, а сам схоронись, чтобы кот тебя не увидал, а то, брат, тебе туго придется!

Волк побежал за бараном, а лиса - домой.

Идет лиса, и повстречался ей медведь:

- Стой, лиса, кому утку несешь? Отдай мне!

- Ступай-ка ты, медведь, подобру-поздорову, а то скажу Котофею Ивановичу, он тебя смерти предаст!

- А кто такой Котофей Иванович?

- А который прислан к нам из сибирских лесов воеводою. Я раньше была лисица-девица, а теперь нашего воеводы - Котофея Ивановича - жена.

- А нельзя ли посмотреть его, Лизавета Ивановна?

- У! Котофей Иванович у меня такой сердитый: кто ему не приглянется, сейчас съест. Ты ступай, приготовь быка да принеси ему на поклон. Да смотри, быка-то положи на видное место, а сам схоронись, чтобы Котофей Иванович тебя не увидел, а то тебе туго придется!

Медведь пошел за быком, а лиса - домой.

Вот принес волк барана, ободрал шкуру и стоит раздумывает. Смотрит

- и медведь лезет с быком.

- Здравствуй, Михайло Иванович!

- Здравствуй, брат Левон! Что, не видал лисицы с мужем?

- Нет, Михайло Иванович, сам их дожидаю.

- А ты сходи-ка к ним, позови, - говорит медведь волку.

- Нет, не пойду, Михайло Иванович. Я неповоротлив, ты лучше иди.

- Нет, не пойду, брат Левон. Я мохнат, косолап, куда мне!

Вдруг - откуда ни возьмись - бежит заяц. Волк и медведь как закричат на него:

- Поди сюда, косою!

Заяц так и присел, уши поджал.

- Ты, заяц, поворотлив и на ногу скор: сбегай к лисе, скажи ей, что медведь Михайло Иванович с братом Леоном Ивановичем давно уже готовы, ждут тебя-де с мужем, с Котофеем Ивановичем, хотят поклониться бараном да быком.

Заяц пустился к лисе во всю прыть. А медведь и волк стали думать, где бы им спрятаться.

Медведь говорит:

- Я полезу на сосну. А волк ему говорит:

- А я куда денусь? Ведь я на дерево не взберусь. Схорони меня куда-нибудь.

Медведь спрятал волка в кустах, завалил сухими листьями, а сам влез на сосну, на самую макушку, и поглядывает, не идет ли Котофей Иванович с лисой.

Заяц меж тем прибежал к лисицыной норе:

- Медведь Михайло Иванович с волком Леоном Ивановичем прислали сказать, что они давно ждут тебя с мужем, хотят поклониться вам быком да бараном.

- Ступай, косою, сейчас будем.

Вот и пошли кот с лисою. Медведь увидел их и говорит волку:

- Какой же воевода-то Котофей Иванович маленький!

Кот сейчас же кинулся на быка, шерсть взъерошил, начал рвать мясо и зубами и лапами, а сам мурчит, будто сердится:

- Мау, мау!..

Медведь опять говорит волку:

- Невелик, да прожорлив! Нам четверым не съесть, а ему одному мало. Пожалуй, он и до нас доберется!

Захотелось и волку посмотреть на Котофея Ивановича, да сквозь листья не видать. И начал волк потихоньку разгребать листья. Кот услышал, что листья шевелятся, подумал, что этомышь, да как кинется - и прямо волку в морду вцепился когтями.

Волк перепугался, вскочил и давай утекать. А кот сам испугался и полез на дерево, где сидел медведь.

«Ну, - думает медведь, - увидел он меня!»

Слезать-то было некогда, вот медведь как шмякнется с дерева оземь, все печенки отбил, вскочил - да наутек.

А лисица вслед кричит:

- Бегите, бегите, как бы он вас не задрал!..

С той поры все звери стали кота бояться. А кот с лисой запаслись на всю зиму мясом и стали жить да поживать. И теперь живут.

¹ *Воевóда* — воинский начальник (военачальник).

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Почему мужик решил избавиться от кота? Куда понес мужик кота?
2. Кого кот встретил в лесу? В чем проявились находчивость и хитрость Котофея Ивановича?
3. Кто оказался смелее: волк, медведь или заяц? Расскажите, как кот напугал волка и медведя? Почему кот оказался победителем? Кто оказался хитрее всех?
4. Как заканчивается сказка? Как вы думаете, зачем народ придумал эту сказку?

САМОЕ ДОРОГОЕ

Русская народная сказка

На ровном месте, как на бороне ¹, от всех дорог в стороне, в глухой деревушке, жили-были старик со старушкой.

Старик ивовые прутья резал, корзинки плетёт. Старуха лён пряла да ткала. Тем и кормились.

Вот как-то говорит старуха старику:

— Дед, трудно нам стало работать: у меня прялка сломалась, а у тебя, гляди-ка, ручка у ножа треснула, едва держится. Сходи-ка ты в лес, вырубь деревце, сделаем новую прялку да ручку к ножу.

Пошёл старик в лес. Приглядел он хорошее деревце. Только замахнулся он топором — а из чащи Лесной Дед выходит. Был этот Дед в мохнатые ветки одет, в волосах шишки еловые, в бороде шишки сосновые, седые усы до земли висят, глаза огоньками зелёными горят.

— Не трогай, — говорит, — старичок, моих деревьев: ведь они все живые, тоже жить хотят. Лучше попроси у меня, чего тебе надобно, — всё дам.

Удивился старик, обрадовался. Пошёл домой со старухой посоветоваться. Сели они рядом перед избой на лавочку. Старик и спрашивает:

— Ну, старуха, чего мы у Лесного Деда просить будем? Хочешь — много-много денег попросим? Он даст.

— А на что нам, старик много-много денег? Нам их и прятать негде. Нет, старик, не надо нам денег!

— Ну, хочешь, попросим большое-пребольшое стадо коров и овец?

— А на что нам, старик, большое-пребольшое стадо? Нам с ним и не управиться будет. Есть у нас коровушка — молоко даёт, есть шесть овечек — шерсть дают. На что нам больше? Не надо!

— А может быть, старуха, мы у Лесного Деда тысячу курочек попросим?

— Да что ты, старик, чего выдумал? Чем же мы их кормить станем? Что с ними делать будем? Есть у нас три курочки-хохлатки, есть Петя-петушок — нам и довольно.

Думали, думали старик со старухой — ничего придумать не могут: всё, что нужно, у них есть, а чего нет— то они своими трудами всегда заработать могут. Встал старик с лавки и говорит:

— Я, старуха, придумал, чего у Лесного Деда просить надо!

Пошёл он в лес. А навстречу ему Лесной Дед, в мохнатые ветки одет, в волосах шишки еловые, в бороде шишки сосновые, седые усы до земли висят, глаза огоньками зелёными горят.

— Ну как, мужичок, надумал, чего тебе надобно?

— Надумал, — старик говорит. — Сделай так, чтобы наша прялка да ножик никогда не ломались да чтобы руки у нас всегда здоровыми были. Тогда мы всё, что нам нужно, сами себе заработаем.

— Будь по-твоему, — Лесной Дед отвечает.

И живут с тех пор старик со старухой: старик ивовые прутья режет, корзинки плетёт, старуха шерсть прядёт, рукавицы вяжет. Тем и кормятся.

И хорошо живут, счастливо!

¹ *Борона́* — сельскохозяйственное орудие для обработки почвы.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Зачем старик отправился в лес?
2. Что произошло в лесу?
3. Что сказал Лесной Дед о деревьях?

4. Какова главная мысль сказки?
5. Кратко передайте содержание сказки.
6. Почему сказка называется «Самое дорогое»?
7. Что является самым дорогим для вас?

ЛИТЕРАТУРНЫЕ СКАЗКИ

Русская народная сказка сыграла большую роль в развитии литературы. Сказочные мотивы можно встретить в рукописных книгах XV—XVII веков. Особенно широкий интерес к фольклору, к истории национальной культуры появляется в России со второй половины XVIII века.

Сказка проникла во все жанры литературы — поэму и повесть, рассказ и роман. Все русские писатели отдавали дань сказке: Жуковский и Пушкин, Лермонтов и Гоголь, Одоевский и Толстой.

В первые десятилетия XIX века появились удачные обработки народных сказок. Новую страницу в создании литературных сказок открыл А. С. Пушкин. Он подал пример наполнения сюжета народных сказок новыми идеями. Жить на посылках — всё равно что лишиться жизни. Зависеть от самовластья — нет ничего тяжелее — вот о чём говорит нам «Сказка о рыбаке и рыбке».

Переплетение реальной жизни с таинственным и волшебным миром, нравоучительный сюжет и поэтичность мы увидим в сказке Сергея Тимофеевича Аксакова «Аленький цветочек».

Русская сказка, народная или возникшая на её основе писательская, литературная, никогда не была заурядной, беспочвенной фантазией; в сказках реальный мир всегда покоряется воле сказочника, сказка всегда зовет к преобразованию мира на началах человечности и красоты.

По В. Аникину

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Какие сказки называем мы писательскими, или литературными? Что отличает их от народных? Что сближает литературные сказки с народными?
2. Какие литературные сказки вы читали и кто их авторы?

СЕРГЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ АКСАКОВ

(1791 — 1859)

Сергей Тимофеевич Аксаков родился в семье небогатого помещика в городе Уфе. Его отец сумел передать сыну свою страстную любовь к природе. Мать мальчика происходила из аристократической семьи. Она привила сыну любовь к чтению и книгам. Большую роль в воспитании будущего писателя сыграла Пелагея, выполнявшая в доме Аксаковых роль ключницы и сказительницы.

В 1799 году С. Т. Аксаков поступил в Казанскую гимназию, а в 1804 году тринадцатилетний Сергей в числе 40 самых способных гимназистов поступил в Казанский университет. В процессе учебы у Аксакова активно стали проявляться литературные интересы и способности.

В 1821 году началась его литературная деятельность. Но возможности творить ограничивались необходимостью зарабатывать на жизнь. До смерти отца в 1839 году Аксаков вынужден был служить инспектором Землемерного училища, а позднее стал его директором. Наследство, полученное от отца, позволило ему выйти в отставку, купить большое подмосковное имение Абрамцево и превратить его в своеобразный дом-музей русской культуры (в имении подолгу жили писатели, художники, артисты). В эти годы одну за другой он пишет книги о природе; воспоминания детства дают толчок к созданию автобиографической повести «Семейная хроника» и «Детские годы Багрова - внука», приложением к ней становится знаменитая сказка «Аленький цветочек».

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Что вас больше всего привлекло в биографии писателя? Расскажите об этом.

АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК

I

В не́киим ¹ царстве, в не́киим государстве жил-был богатый купец. Много у него было всякого богатства, дорогих товаров заморских, жемчугу, драгоценных камней, золотой и серебряной казны ²; и было у того купца три дочери, все красавицы писанные, а меньшая лучше всех; и любил он дочерей своих больше своего богатства, жемчугов, драгоценных камней, золотой и серебряной казны — по той причине, что он был вдовец ³ и любить ему было некого; любил он старших дочерей, а меньшую дочь любил больше, потому что она была собой лучше всех и к нему ласковее.

Вот собирается тот купец по своим торговым делам за море, за тридевять земель, в тридевятое царство, в тридесятое государство, и говорит он дочерям:

«Дочери мои милые, дочери мои хорошие, дочери мои пригожие, еду я по своим купецким делам за тридевять земель, в тридевятое царство в тридесятое государство, и мало ли, много ли времени проезжу — не ведаю, и наказываю я вам жить без меня честно и смиренно, и коли вы будете жить без меня честно и смиренно, то привезу вам такие гостинцы, каких вы сами захотите».

Старшая дочь поклонилась отцу в ноги, да и говорит ему первая: «Привези ты мне золотой венец из камней самоцветных, и чтоб был от них такой свет, как от месяца полного, как от солнца красного, и чтоб было от них светло в темную ночь, как среди дня белого».

Поклонилась ему в ноги дочь средняя и говорит:

«Привези ты мне тувалёт⁴ из хрусталу восточного, цельного, беспорочного, чтобы, глядя в него, видела я всю красоту поднебесную и чтоб, смотрясь в него, я не старилась и красота б моя девичья прибавлялась».

Поклонилась в ноги отцу меньшая дочь и говорит такое слово: «Привези ты мне аленький цветочек, которого бы не было краше на белом свете».

¹ *В не́киим* — в некотором.

² *Казна́* — деньги.

³ *Вдовец* — мужчина, у которого умерла жена.

⁴ *Тувалёт* — зеркало.

Долго ли, много ли он собирался, я не знаю и не ведаю; скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. Поехал он в путь, во дороженьку.

Вот ездит честной купец по чужим сторонам заморским, по королевствам невиданным. Отыскал он заветный гостинец для своей старшей дочери: венец с камнями самоцветными. Отыскал заветный гостинец и для своей средней дочери: тувалет хрустальный. Не может он только найти заветного гостинца для меньшей, любимой дочери — аленького цветочка.

Вот едет он путем-дорогою со своими слугами верными и откуда ни возьмись налетели на него разбойники. Бросает честной купец свои караваны богатые и бежит в темны леса.

Бродит он по тому лесу дремучему, непроездному, непроходному, деревья перед ним расступаются, а часты кусты раздвигаются. Смотрит

назад — руки не просунуть, смотрит направо — пни да колоды, смотрит налево — а и хуже того.

Выходит он на поляну широкую, и посередь той поляны стоит дворец королевский весь в огне, в серебре и золоте и в камнях самоцветных, весь горит и светит.

Входит он во дворец, а убранство везде царское, неслыханное и невиданное: золото, серебро, хрустали восточные, кость слоновая и мамонтовая.

Дивится честной купец такому богатству несказанному, а вдвое того — что хозяина нет; и подумал он про себя: «Все хорошо, да есть нечего», — и вырос перед ним стол, убранный-разубранный: в посуде золотой да серебряной яства⁵ стоят сахарные, и вина заморские, и питья медвяные. Сел он за стол; напился, наелся досыта.

Ходит он по палатам изукрашенным да любитесь, а сам думает: «Хорошо бы теперь соснуть» — и видит: стоит перед ним кровать резная; пуховик на ней, как гора, лежит, пуху мягкого, лебяжьего. Заснул он в ту ж минуточку.

Встал он с кровати высокой, платье ему приготовлено. Видит он в окна растворенные, что кругом дворца разведены сады диковинные, плодовые и цветы цветут красоты неописанной. Захотелось ему по тем садам прогуляться.

Гуляет он и любитесь: на деревьях висят плоды спелые, румяные, цветы цветут распрекрасные, махровые, пахучие, птицы летают невиданные, песни поют райские; фонтаны воды бьют высокие; и бегут и шумят ключи родниковые.

Ходит честной купец. И вдруг видит он: на пригорочке цветет цветок цвету алого, красоты невиданной и неслыханной, что ни в сказке сказать, ни пером написать.

«Вот аленький цветочек, которого нет краше на белом свете, о каком просила меня дочь меньшая, любимая».

Подошел он и сорвал аленький цветочек. В ту же минуту безо всяких туч блеснула молния и ударил гром, земля зашаталась под ногами — и вырос, как будто из-под земли, перед купцом зверь не зверь, человек не человек, а так, какое-то чудовище, страшное и мохнатое, и заревел он голосом диким: «Что ты сделал? Как ты посмел сорвать в моем саду мой заповедный, любимый цветок? Умереть тебе смертью безвременною!»

Упал купец на колени перед чудищем мохнатым и возговорил голосом жалобным: «Не погуби ты моей души за мою дерзость, прикажи слово молвить. А есть у меня три дочери; обещал я им по гостинцу привезти: старшей дочери — самоцветный венец, средней дочери — тувалет хрустальный, а меньшей дочери — аленький цветочек, какого бы не было

краше на белом свете. Старшим дочерям гостинцы я сыскал, а меньшей дочери гостинца отыскать не мог; увидел я такой гостинец у тебя в саду — аленький цветочек, и подумал я, что такому хозяину не будет жалко цветочка аленького, о каком просила моя меньшая дочь, любимая».

Раздался по лесу хохот, словно гром загредел, и возговорит купцу зверь лесной, чудо морское:

«Я отпущу тебя домой невредимого, награжу казной несчетною, подарю цветочек аленький, коли дашь ты мне слово честное купецкое, что пришлешь вместо себя одну из дочерей своих; я обиды ей никакой не сделаю, а будет она жить у меня в чести и приволье. Стало скучно мне жить одинокому, и хочу я залучить себе товарища. Не хочу я невольницы, пусть приедет твоя дочь сюда по любви к тебе, своей волею и хотением; а коли дочери твои не поедут по своей воле, то сам приезжай. А приехать ко мне — не твоя беда; дам я тебе перстень с руки моей: кто наденет его на правый мизинец, тот очутится там, где пожелает. Сроку тебе даю дома пробыть три дня и три ночи».

⁵ *Яства* — еда, кушанья.

И только честной купец успел надеть его на правый мизинец, как очутился в воротах своего широкого двора.

Наутро позвал к себе отец старшую дочь, рассказал ей все, что с ним приключилось, и спросил, хочет ли она избавить его от смерти лютой и поехать жить к зверю лесному, к чуду морскому. Старшая дочь наотрез отказалась и говорит:

«Пусть та дочь и выручает отца, для кого он доставал аленький цветочек».

Позвал честной купец к себе дочь среднюю, рассказал ей все, что с ним приключилось, и спросил, хочет ли она избавить его от смерти лютой и поехать жить к зверю лесному, чуду морскому. Средняя дочь наотрез отказалась и говорит:

«Пусть та дочь и выручает отца, для кого он доставал аленький цветочек».

Позвал честной купец меньшую дочь и стал ей все рассказывать, и не успел кончить речи своей, как стала перед ним на колени дочь меньшая, любимая и сказала:

«Батюшка, я поеду к зверю лесному, чуду морскому, и стану жить у него. Для меня достал ты аленький цветочек, и мне надо выручить тебя».

Вынимает он перстень, надевает перстень на правый мизинец меньшей, любимой дочери — и не стало ее в ту же минуточку.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Назовите главного героя сказки. Прочитайте описание его дочерей. Как вы думаете, почему купец любил больше меньшую дочь?
2. Какие гостинцы попросили привезти купца его дочери?
3. Что случилось с купцом в дороге?
4. Прочитайте, какие чудеса происходили с купцом во дворце.
5. Что явилось причиной встречи купца с невидимым хозяином дворца — чудищем? Прочитайте разговор купца с чудищем по ролям.
6. Что произошло в доме купца после его возвращения? Почему старшие дочери отказались помочь отцу избавиться его от смерти? О чем говорит решение младшей дочери поехать к чудищу жить у него?

II

Очутилась она во дворце зверя лесного, чуда морского.

Стала жить да поживать молодая дочь купецкая, красавица писаная. Всякий день ей готовы наряды богатые, угощения и веселья новые отменные; катанье, гулянье с музыкой на колесницах без коней и упряжи по темным лесам.

Мало ли, много ли тому времени прошло: скоро сказка сказывается, не скоро дело делается — стала привыкать к своему житью-бытью молодая дочь купецкая, красавица писаная; ничему она уж не дивуется, ничего не пугается; служат ей слуги невидимые, подают, принимают, на колесницах без коней катают и все ее повеления исполняют. И полюбила она своего господина милостивого, и видела она, что не даром он зовет ее госпожой своей и что любит он ее пуще самого себя; и захотелось ей его голоса послушать, захотелось с ним разговор повести.

Стала она его о том молить и просить; да зверь лесной, чудо морское, не скоро на ее просьбу соглашается, испугать ее своим голосом опасается; упросила, умолила она своего хозяина ласкового.

И услышала она, ровно кто вздохнул за беседкою, и раздался голос страшный, дикий и зычный, хриплый и сиплый, да и то говорил он еще вполголоса. Вздрогнула сначала молодая дочь купецкая, красавица писаная, услышав голос зверя лесного, чуда морского, только со страхом своим совладала и виду, что испугалась, не показала, и скоро слова его ласковые и приветливые, речи умные и разумные стала слушать она и заслушалась, и стало у нее на сердце радостно.

С той поры пошли у них разговоры, почитай, целый день во зеленом саду на гуляньях.

Прошло мало ли, много ли времени — захотелось молодой дочери купецкой увидеть своими глазами зверя лесного, чуда морского, и стала она его о том просить. Долго он на то не соглашается, испугать ее опасается, да

и был он такое страшилище, что не только люди, но и звери дикие его всегда устрасались. И говорит зверь лесной, чудо морское таковые слова:

«Не проси ты меня, госпожа моя, красавица ненаглядная, чтобы показал я тебе свое лицо противное, свое тело безобразное. К голосу моему попривыкла ты; мы живем с тобой в дружбе, друг со другом, почитай, не разлучаемся, и любишь ты меня за мою любовь к тебе несказанную, а увидя меня, страшного и противного, возненавидишь ты меня несчастного, прогонишь ты меня с глаз долой, а в разлуке с тобой я умру с тоски».

Крепко на себя понадеялась молодая дочь купецкая. Пошла она во зеленый сад дожидаться часу урочного, и когда пришли сумерки серые, проговорила она: «Покажись мне, мой верный друг!» — и показался ей издали зверь лесной, чудо морское; и не взвидела света молодая дочь купецкая, закричала и упала на дорогу без памяти. Да и страшен был зверь лесной, чудо морское: руки кривые, на руках когти звериные, ноги лошадиные, спереди-сзади горбы великие верблюжие, весь мохнатый от верху донизу, изо рта торчали кабаньи клыки, нос крючком, как у беркута, а глаза были совиные.

Полежавши долго ли, мало ли времени, опаматовалась молодая дочь купецкая и слышит: плачет кто-то возле нее, горячими слезами обливается и говорит голосом жалостным:

«Погубила ты меня, моя красавица, не видать мне больше твоего лица распрекрасного, и пришло мне время умереть смертью безвременною».

Совладала она со своим страхом и заговорила голосом твердым:

«Нет, не бойся ничего, мой господин добрый и ласковый, не испугаюсь я больше твоего вида страшного, не разлучусь я с тобой, не забуду твоих милостей».

Вот однажды привиделось во сне молодой купецкой дочери, красавице писаной, что батюшка ее нездоров лежит; и напала на нее тоска неусыпная, и увидал ее в тоске и слезах зверь лесной, чудо морское и очень закручинился ⁶ и стал спрашивать, отчего она во тоске, во слезах. Рассказала она ему свой недобрый сон и стала просить у него позволения повидать своего батюшку родимого и сестриц своих любезных. И возговорит к ней зверь лесной, чудо морское:

«Надень перстень на правый мизинец и очутишься в дому у батюшки родимого. Оставайся у него пока не соскучишься, но коли ты ровно через три дня и три ночи не воротишься, то не будет меня на белом свете и умру я тою же минутою, по причине, что люблю тебя и жить без тебя не могу».

⁶ *Закручинился* — загоревал, опечалился.

Надела она на правый мизинец золот перстень и очутилась на широком дворе честного купца, своего батюшки.

Рассказала она своему батюшке и сестрам старшим про свое житье-бытье у зверя лесного, чуда морского. И возвеселился честной купец ее житью богатому, царскому, королевскому, а сестрам старшим завистно стало. Задумали они дело хитрое: взяли да все часы в доме целым часом назад поставили.

И когда пришел настоящий час, стало у молодой купецкой дочери, сердце болеть и щемить, и смотрит она то и дело на часы отцовские, а все рано ей пускаться в дальний путь. А сестры с ней разговаривают, позадерживают. Однако сердце ее не вытерпело; надела золот перстень на правый мизинец и очутилась во дворце белокаменном зверя лесного, чуда морского; и, дивуясь⁷, что он ее не встречает, закричала она громким голосом:

«Где же ты, мой добрый господин, мой верный друг? Что же ты меня не встречаешь?»

Ни ответа, ни приветя не было, тишина стояла мертвая. Побежала она на пригорок, где рос ее любимый цветочек аленький, и видит она, что лесной зверь, чудо морское лежит на пригорке, обхватив аленький цветочек своими лапами безобразными. И видит, что зверь лесной, чудо морское мертв лежит...

Помутились ее очи ясные, подкосились ноги резвые, пала она на колени, обняла руками белыми голову своего господина доброго и завопила истошным голосом:

«Ты встань, пробудись, мой сердечный друг, я люблю тебя, как жениха желанного!...»

И только таковы слова она вымолвила, как заблестели молнии со всех сторон, затряслась земля от грома великого, ударила громовая стрела каменная в пригорок муравчатый и упала без памяти молодая дочь купецкая.

Очнувшись, видит она себя во палате беломраморной, сидит она на золотом престоле, и обнимает ее принц молодой, красавец писанный, на голове с короной царскою; перед ней стоит отец с сестрами. И возговорит к ней молодой принц:

«Полюбила ты меня, красавица ненаглядная, в образе чудища безобразного за мою добрую душу и любовь к тебе; полюби же меня теперь в образе человеческом, будь мне невестой желанною. Злая волшебница прогневалась на моего родителя покойного, украла меня еще малолетнего и оборотила меня в чудище страшное и наложила заклятие, чтобы жить мне в таком виде безобразном, пока найдется красная девица, и полюбит меня в

образе страшилища и пожелает быть моей женой, — и тогда колдовство все покончится, и стану я опять по-прежнему человеком молодым и пригожим. И жил я таким страшилищем ровно тридцать лет. Ты одна полюбила меня, чудище противное и безобразное, за мои ласки, за мою душу добрую, за любовь мою к тебе, и будешь ты за то женою короля славного».

Честной купец дал свое благословение дочери меньшей, любимой и молодому принцу-королевичу. И немедля принялись веселым пирком да за свадебку и стали жить да поживать, добра наживать.

⁷*Дивуючись* — удивляясь.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Как жилось дочери купеческой во дворце у зверя лесного? Подтвердите ответ примерами из текста.
2. Почему чудище долго отказывалось показаться девушке на глаза? Почему оно все же сделало это?
3. Расскажите о встрече купеческой дочери с отцом и старшими сестрами. Почему сестры хотели ее задержать?
4. Что случилось с чудищем из-за опоздания купеческой дочери?
5. Чем закончилась сказка?

ИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА

Писатели и поэты XIX века считаются классиками русской литературы. Это А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь, Н. А. Некрасов, Л. Н. Толстой, А. П. Чехов и другие. Они черпали темы своих произведений из жизни, изучали её, писали о судьбах людей в России, о человеческих переживаниях, выражали своё отношение к происходящим событиям.

ИВАН АНДРЕЕВИЧ КРЫЛОВ

(1769 — 1844)

Великого русского баснописца Ивана Андреевича Крылова знает и любит весь наш народ. С его баснями мы знакомимся в раннем детстве и не расстаёмся с ними всю жизнь.

Крылов родился в 1769 году в Москве в семье бедного армейского капитана. Отец закончил карьеру военного, вышел в отставку, и семья поселилась в Твери. Умер он, когда его сыну Ивану было девять лет. Для

семьи наступила пора безнадежной бедности.

Маленькому Ване из милости разрешено было присутствовать на занятиях домашних учителей в семье помещиков Львовых, иногда он прислуживал в их доме в качестве лакея. По словарю он выучил французский, позже освоил итальянский, английский, немецкий, древнегреческий. С удовольствием занимался математикой, хорошо рисовал, умел играть на скрипке. Иван Андреевич не смог получить настоящего образования из-за отсутствия средств, но он обладал исключительными способностями, много читал с самого детства, настойчиво и упорно занимался самообразованием, стал одним из самых образованных людей своего времени.

С десяти лет Крылов начал служить мелким служащим в канцелярии, для того чтобы прокормить мать и младшего брата. Впечатлительный мальчик жадно прислушивался к яркой и образной народной речи. Этот интерес к народу, его нравам, к живому, разговорному языку будет всегда присутствовать в его произведениях.

В восемнадцать лет Крылов начинает писать. В журналах появляются его комедии, комические оперы, трагедии. Но известность ему приносят басни. Каждую новую басню читатели встречают с восторгом. И. А. Крылов сразу становится знаменитым. Его приглашают читать басни в дома богатых вельмож и даже на придворные праздники к самому царю. Впечатление от чтения басен самим автором было потрясающим. Гостей собиралось так много, что часто им не хватало мест в зале. Они становились на стулья, столы, подоконники, чтобы видеть Крылова и слушать его басни.

В 1838 году Петербург торжественно отмечал 70-летие И. А. Крылова. Император Николай I наградил его орденом Святого Станислава.

И. А. Крылов пережил многих своих современников. При нём погибли А. С. Пушкин и М. Ю. Лермонтов. Он станет свидетелем исторических событий, происходящих в России: Отечественная война с французами 1812 года, восстание декабристов в 1825 году.

Умер Иван Андреевич Крылов 21 ноября 1844 года в возрасте 75 лет, заслужив при жизни почёт и славу. Похоронен великий баснописец в Санкт-Петербурге. Гроб с телом Крылова студенты несли от Исаакиевского собора до Александро-Невской лавры на руках.

- *Расскажите о жизни И. А. Крылова.*
- *Как началась деятельность Крылова-баснописца?*

Басня — это краткий рассказ, чаще всего в стихах. Она состоит из самого рассказа и поучительного вывода (морали). Мораль может быть перед рассказом, а может быть в конце его. Иногда вывод в басне отсутствует, но он всё равно подразумевается. В этом случае читатель сам должен понять, чему автор хотел научить этой басней.

В баснях героями, как правило, являются животные или предметы. Они говорят человеческим языком, совершают поступки, за которыми видны действия людей. В баснях высмеиваются и осуждаются различные человеческие пороки. Так, под маской Волка скрывается жадный, злобный и неумный человек. Под маской Лисы — хитрый лстец, плут, ловкий вор. Осёл — глупый и полный самомнения упрямец. Обезьяна — невежа и хвастунишка. Лев — это царь, а овцы — народ.

Басни Крылова широко известны русскому народу, чью судьбу великий баснописец принимал близко к сердцу. Всего им было написано более 200 басен и выпущено 9 книг.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Какое литературное произведение называется басней?
2. Назовите известные вам басни.
3. В чём состоит своеобразие басен И. А. Крылова?

ВОЛК И ЯГНЁНОК

У сильного всегда бессильный виноват:
Тому в Истории мы тьму примеров слышим,
Но мы Истории не пишем;
А вот о том как в Баснях говорят.

Ягнёнок в жаркий день зашёл к ручью напиться;
И надобно ж беде случиться,
Что около тех мест голодный рыскал Волк.
Ягнёнка видит он, на добычу стремится;
Но, делу дать хотя законный вид и толк,
Кричит: «Как смеешь ты, наглец, нечистым рылом
Здесь чистое мутить питьё
Моё
С песком и с илом?
За дерзость такову
Я голову с тебя сорву». —
«Когда светлейший Волк позволит,
Осмелюсь я донести, что ниже по ручью
От Светлости его шагов я на сто пью;
И гневаться напрасно он изволит:
Питья мутить ему никак я не могу». —
«Поэтому я лгу!

Негодный! слыхана ль такая дерзость в свете!
Да помнится, что ты ещё в запрошлом лете
Мне здесь же как-то нагрубил:
Я этого, приятель, не забыл!»—
«Помилуй, мне ещё и от роду нет году»,—
Ягнёнок говорит. «Так это был твой брат».—
«Нет братьев у меня».— «Так это кум иль сват
И, словом, кто-нибудь из вашего же роду.
Вы сами, ваши псы и ваши пастухи,
Вы все мне зла хотите
И, если можете, то мне всегда вредите,
Но я с тобой за их разведаюсь грехи».—
«Ах, я чем виноват?» — «Молчи! устал я слушать,
Досуг мне разбирать вины твои, щенок!
Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать».
Сказал и в тёмный лес Ягнёнка поволок.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Зачем пришли Волк и Ягнёнок к ручью?
2. С какой целью Волк затеял спор с Ягнёнком?
3. Как ведёт себя в споре Ягнёнок?
4. Наглость Волка и беззащитность Ягнёнка проявляются в их речи. Докажите это примерами из текста басни.
5. Объясните смысл первой строки. Докажите, что первая строка выражает мораль всей басни. Как вы считаете, можно ли этой моралью руководствоваться в жизни?
6. Прочитайте басню в лицах.
7. Какие строки басни употребляются как пословицы?

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН

(1799 — 1837)

А. С. Пушкин родился 6 июня 1799 года в Москве. Семья будущего поэта была высокообразованной и литературной. Отец его, Сергей Львович, происходил из старинного дворянского рода. Имена предков Пушкина не раз встречаются на станицах русской истории. Мать, Надежда Осиповна, была внучкой Ганнибала, «арапа Петра Великого», ставшего впоследствии русским генералом. Сергей Львович увлекался литературой, его брат Василий Львович — известный поэт. В доме часто бывали выдающиеся литераторы того времени К. Н. Батюшков, В. А. Жуковский, Н. М.

Карамзин.

В детстве будущий поэт был полным, угрюмым, нелюдимым ребенком, поэтому мать предпочитала ему старшую сестру Ольгу и младшего брата Левушку. Неизбалованность лишним вниманием приучила мальчика искать опору не в ком-то, а в самом себе. Он рано стал сочинять. Из-за этого периодически возникали конфликты с домашними учителями: уроков не знает, а занимается всяким «вздором» — стихами.

Большую роль в формировании личности поэта сыграли окружающие его люди. Среди них бабушка Мария Алексеевна Ганнибал, научившая мальчика русскому чтению и письму; мудрая сказочница няня Арина Родионовна; дядя Василий Львович, активно поддерживавший поэтические пробы пера своего племянника; приставленный к будущему поэту дядька Никита Козлов, носивший маленького Сашу на руках — и внесший смертельно раненного поэта последний раз в дом.

К семи годам А. С. Пушкин преобразился в живого, энергичного, подвижного и любознательного мальчугана, каким он и пришел в Лицей.

В двенадцать лет родители отдали Александра учиться в Царскосельский лицей. Годы обучения в Лицее (1811 — 1817) оказались для него удивительно светлыми и радостными. Здесь к нему пришли первые творческие успехи и появились первые настоящие друзья.

Учился А. С. Пушкин неровно: по одним предметам, которые его интересовали, он — лучший ученик, к другим проявлял полное равнодушие и «отсутствие всякого знания». Главным результатом проведенных в Лицее лет стало окончательное формирование А. С. Пушкина как поэта. Первым свидетельством серьезности поэтических увлечений подростка оказалось признание его успехов Г. Р. Державиным. Именно со стихотворения «Воспоминания в Царском Селе» началась слава А. С. Пушкина.

После окончания Лицея А. С. Пушкин получил назначение на службу в министерство иностранных дел. В это время жизнь его была насыщенной и разнообразной: в ней много творчества, новых знакомств. В 1820 году он написал поэму «Руслан и Людмила». Приобщение к политической жизни столицы повлекло появление вольнолюбивых стихов. За это последовали гнев царя и наказание — ссылка на юг. А. С. Пушкин покидает Петербург и отправляется на Кавказ. Поэт путешествует, читает, много сочиняет. Здесь были написаны поэма «Кавказский пленник», роман в стихах «Евгений Онегин».

В 1824 году А. С. Пушкин прибыл в село Михайловское. В имении его встретила старенькая няня.

- *Вспомните, кто привил будущему поэту любовь к русскому языку и устному народному творчеству. Кому посвящены строчки из стихотворения Пушкина?*

«Подруга дней моих суровых,
Голубка дряхлая моя!»

- *Помните ли вы продолжение этого стихотворения?*

Уединение не было полным — приезжали старые друзья И. И. Пущин, П. А. Вяземский, появлялись новые. Но все же времени было много; оно заполнялось преимущественно творчеством.

Вернувшись в свет, А. С. Пушкин чувствовал себя неуютно: долгое время он находился в разъездах, в 1828 году пытался попасть в армию. Не получив разрешения, уехал на Кавказ самовольно. Помимо душевного беспокойства, в дорогу его гнала любовь: в 1828 году он впервые встретил на балу свою будущую жену, Наталью Николаевну Гончарову, но родители девушки на сватовство поэта ответили уклончиво.

Годы неустроенности и переживаний тем не менее оказались на редкость плодотворными: в это время появились лучшие произведения поэта — поэма «Полтава», «Повести Белкина», «Маленькие трагедии». Повторное предложение о браке Гончаровыми в 1830 году было принято, и в 1831 году состоялось венчание.

Последние годы поэта были омрачены постоянными конфликтами с властями. Его стали раздражать шум и атмосфера придворной жизни Петербурга. Попытки удалиться от двора встречали противодействие со стороны царя. Угнетала жестокая цензура. Начались материальные проблемы и неурядицы. Дополнительным осложнением оказалась семейная драма.

27 января 1837 года состоялась дуэль А. С. Пушкина с Дантесом. 29 января смертельно раненный поэт скончался в окружении семьи и друзей.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Что вы узнали о семье А. С. Пушкина?
2. Каким был А. С. Пушкин в детстве?
3. Кто оказал большое влияние на формирование личности поэта?
4. Расскажите о годах, проведенных будущим поэтом в Лицее.
5. За что последовал гнев царя? Каково было его наказание?
6. Кто поддерживал А. С. Пушкина в Михайловском?
7. Расскажите о последних годах жизни поэта.
8. Назовите свои любимые произведения.

ПЕСНЬ О ВЕЩЕМ ¹ ОЛЕГЕ

Как ныне собирается вещий Олег
Отмстить неразумным хазарам ²,
Их сёла и нивы за буйный набег
Обрѣк он мечам и пожарам ³;
С дружиной своей, в цареградской броне,
Князь по полю едет на верном коне.

Из тёмного леса навстречу ему
Идёт вдохновенный кудесник ⁴,
Покорный Перуну старик одному,
Заветов грядущего вестник,
В мольбах и гаданьях прошедший весь век.
И к мудрому старцу подъехал Олег.

«Скажи мне, кудесник, любимец богов,
Что сбудется в жизни со мною?
И скоро ль, на радость соседей-врагов,
Могильной засыплюсь землёю?
Открой мне всю правду, не бойся меня:
В награду любого возьмёшь ты коня».

«Волхвы ⁴ не боятся могучих владык,
А княжеский дар им не нужен;
Правдив и свободен их вещий язык
И с волей небесною дружен.
Грядущие годы таятся во мгле;
Но вижу твой жребий ⁶ на светлом челе ⁷.

Запомни же ныне ты слово моё:
Воителю слава — отрада;
Победой прославлено имя твоё;
Твой щит на вратах Цареграда ⁸;
И волны и суша покорны тебе;
Завидует недруг столь дивной судьбе.

И синего моря обманчивый вал
В часы роковой непогоды,
И пращ ⁹, и стрела, и лукавый кинжал

Щадят победителя годы...
Под грозной бронёй ты не ведаешь ран;
Незримый хранитель могущему дан.

Твой конь не боится опасных трудов;
Он, чуя господскую волю,
То смиренный стоит под стрелами врагов,
То мчится по бранному полю.
И холод и сеча ¹⁰ ему ничего...
Но примешь ты смерть от коня своего».

Олег усмехнулся — однако чело
И взор омрачилися думой.
В молчанье, рукой опершись на седло,
С коня он слезает, угрюмый;
И верного друга прощальной рукой
И гладит и треплет по шее крутой.

«Прощай, мой товарищ, мой верный слуга,
Расстаться настало нам время;
Теперь отдыхай! уж не ступит нога
В твоё позлащённое стремя.
Прощай, утешайся — да помни меня.
Вы, отроки-друзи ¹¹, возьмите коня,

Покройте попоной ¹², мохнатым ковром,
В мой луг под уздцы отведите;
Купайте, кормите отборным зерном,
Водой ключевую поите».
И отроки тотчас с конём отошли,
А князю другого коня подвели.

Пирует с дружиною вещей Олег
При звоне весёлом стакана.
И кудри их белы, как утренний снег
Над славной главою кургана...
Они поминают минувшие дни
И битвы, где вместе рубились они...

«А где мой товарищ?— промолвил Олег,—
Скажите, где конь мой ретивый ¹³?

Здоров ли? Всё так же ль легок его бег?
Всё тот же ль он бурный, игривый?»
И внемлет ответу: на холме крутом
Давно уж почил непробудным он сном.

Могучий Олег головою поник
И думает: «Что же гаданье?
Кудесник, ты лживый, безумный старик!
Презреть бы твоё предсказанье!
Мой конь и доныне носил бы меня».
И хочет увидеть он кости коня.

Вот едет могучий Олег со двора,
С ним Игорь и старые гости,
И видят — на холме, у берега Днепра,
Лежат благородные кости;
Их моют дожди, засыпает их пыль,
И ветер волнует над ними ковыль.

Князь тихо на череп коня наступил
И молвил: «Спи, друг одинокий!
Твой старый хозяин тебя пережил:
На тризне ¹⁴, уже недалёкой,
Не ты под секирой ¹⁵ ковыль обagriшь
И жаркою кровью мой прах напоишь!

Так вот где таилась погибель моя!
Мне смертию кость угрожала!»
Из мёртвой главы гробовая змея
Шипя между тем выползала;
Как чёрная лента, вокруг ног обвилась,
И вскрикнул внезапно ужаленный князь.
Ковши круговые, запенясь, шипят
На тризне плачевной Олега;
Князь Игорь и Ольга на холме сидят;
Дружина пирует у берега;
Бойцы поминают минувшие дни
И битвы, где вместе рубились они.

¹ *Вéщий* — мудрый.

² *Хазáры* — кочевой народ, живший в VIII—XI веках в низовьях Волги и на

Северном Кавказе.

³ **Обрёк он мечам и пожарам** — решил разрушить и сжечь.

⁴ **Кудесник, волхв** — в Древней Руси: колдун, мудрец, прорицатель.

⁵ **Перу́н** — главное божество у древних славян.

⁶ **Жре́бий** — здесь: судьба.

⁷ **Чело́** (устар.) — лоб.

⁸ **Царьгра́д (Царегра́д)** — так называли на Руси Константинополь, столицу Византии. По преданию, Олег прибил свой щит над воротами Цареграда в знак победы после похода в 907 году.

⁹ **Пращ (праща́)** — древнее ручное боевое оружие для метания камней.

¹⁰ **Сеча́** — здесь: бой, битва, сражение.

¹¹ **О́троки-друзи** — здесь: младшие княжеские дружинники.

¹² **Попо́на** — покрывало для лошадей.

¹³ **Ретивы́й** — здесь: быстрый, живой.

¹⁴ **Три́зна** — у древних славян — обрядовые действия и пиршество в память умершего.

¹⁵ **Секі́ра** — старинное оружие в виде топора на длинной рукояти.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Назовите главных действующих лиц «Песни...».
2. По данному плану разделите «Песню...» на части:
 - 1) Как ныне собирается вещей Олег...
 - 2) Что сбудется в жизни со мною?
 - 3) Прощай, мой товарищ...
 - 4) Где конь мой ретивый?
 - 5) Так вот где таилась погибель моя!
 - 6) Бойцы поминают минувшие дни.
3. Куда собирается дружина князя Олега? За что мстит князь хазарам?
4. Какую судьбу предсказывает кудесник Олегу? Читая предсказание кудесника, голосом передайте торжественность и величавость его речи.
5. Как отнёсся Олег к предсказанию кудесника? Подтвердите свой ответ словами текста.
6. Прочитайте прощальное обращение князя к коню, передавая в чтении чувства князя. Как относится князь-воин к своему коню?
7. В стихотворении есть слова и выражения, характеризующие князя Олега. Найдите их. Как характеризует кудесника его ответ князю?
8. Как правило, стихотворения состоят из строф. Что же такое стихотворная строфа?

Строфа́ — это группа стихотворных строк (строк может быть четыре, шесть, восемь и т. д.), объединённых между собою законченной мыслью и сочетанием рифм.

Из скольких строф состоит «Песня...»? Проанализируйте одну из строф: скажите, сколько в ней строк, выделите главную мысль, укажите рифмующиеся строки.

9. Выучите понравившийся вам отрывок наизусть (3 - 4 строфы).

МЕТЕЛЬ (В сокращении)

I

Жил в своем поместье Ненарадове добрый Гаврила Гаврилович Р**. Он славился во всей округе гостеприимством и радушием; соседи поминутно ездили к нему поесть, попить, поиграть по пяти копеек в бостон¹ с его женою, Прасковьей Петровною, а некоторые для того, чтоб поглядеть на дочку их, Марью Гавриловну, стройную, бледную и семнадцатилетнюю девицу. Она считалась богатой невестою, и многие прочили ее за себя или за сыновей.

Марья Гавриловна была воспитана на французских романах и, следственно, была влюблена. Предмет, избранный ею, был бедный армейский прапорщик², находившийся в отпуску в своей деревне. Само по себе разумеется, что молодой человек пылал равною страстию и родители его любезной, заметя их взаимную склонность, запретили дочери о нем и думать.

Молодые люди были в переписке, и всякий день видались наедине в сосновой роще или у старой часовни. Там они клялись друг другу в вечной любви, сетовали на судьбу и делали различные предположения. Переписываясь и разговаривая, таким образом, они дошли до следующего рассуждения: если мы друг без друга дышать не можем, а воля жестоких родителей препятствует нашему благополучию, то нельзя ли нам будет обойтись без нее? Разумеется, что эта счастливая мысль пришла сперва в голову молодому человеку и что она весьма понравилась романическому воображению Марьи Гавриловны.

Наступила зима и прекратила их свидания; но переписка сделалась тем живее. Владимир Николаевич в каждом письме умолял ее предаться³ ему, венчаться⁴ тайно, скрываться несколько времени, броситься потом к ногам родителей, которые конечно будут тронуты наконец героическим постоянством и несчастьем любовников и скажут им непременно: Дети! придите в наши объятия.

¹ *Бостон* — карточная игра.

² *Прапорщик* — воинское звание, младший офицерский чин в царской

армии.

³ *Предаться* — довериться.

⁴ *Венчаться* — вступить в брак по церковному обряду.

Марья Гавриловна долго колебалась; множество планов побега было отвергнуто. Наконец она согласилась: в назначенный день она должна была поужинать и удалиться в свою комнату под предлогом головной боли. Девушка ¹ ее была в заговоре; обе они должны были выйти в сад через заднее крыльцо, за садом найти готовые сани, садиться в них и ехать в село Жадрино прямо в церковь, где уж Владимир должен был их ожидать.

Накануне решительного дня Марья Гавриловна не спала всю ночь; она укладывалась, увязывала белье и платье, написала длинное письмо к своим родителям. Она прощалась с ними в самых трогательных выражениях, извиняла свой проступок неодолимою силою страсти и оканчивала тем, что блаженнейшею минутою жизни почтет она ту, когда позволено будет ей броситься к ногам дражайших ее родителей. Отец и мать заметили ее беспокойство: их нежная заботливость и беспрестанные вопросы: что с тобою, Маша? не больна ли ты, Маша? — раздирали ее сердце. Она старалась их успокоить, казаться веселою, и не могла. Наступил вечер. Все было готово. Через полчаса Маша должна была навсегда оставить родительский дом, свою комнату, тихую девическую жизнь...

На дворе была метель: ветер выл, ставни тряслись и стучали; все казалось ей угрозой и печальным предзнаменованием. Скоро в доме все утихло и заснуло. Маша укуталась шалью, надела теплый капот ², взяла в руки шкатулку свою и вышла на заднее крыльцо. Служанка несла за нею два узла. Они сошли в сад. Метель не утихала; ветер дул навстречу, как будто силясь остановить молодую преступницу. Они насилу дошли до конца сада. На дороге сани дожидались их. Лошади, прозябнув, не стояли на месте; кучер Владимира расхаживал перед оглоблями, удерживая ретивых. Он помог барышне и ее девушке усесться и уложить узлы и шкатулку, взял вожжи, и лошади полетели. Поручив барышню попечению судьбы и искусству Терешки-кучера, обратится к молодому нашему любовнику.

Целый день Владимир был в разъезде. Утром был он у жадринского священника; насилу с ним уговорился; потом поехал искать свидетелей между соседними помещиками.

Уже давно смеркалось. Владимир велел заложить маленькие сани в одну лошадь, и один без кучера отправился в Жадрино, куда часа через два должна была приехать и Марья Гавриловна. Дорога была ему знакома, а езды всего двадцать минут.

¹ *Дёвушка* — молодая служанка, работница из крепостных.

² *Капóт* — верхняя одежда свободного покроя.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Назовите главных героев повести.
2. Опишите главную героиню Марью Гавриловну.
3. Почему родители запретили дочери встречаться с Владимиром?
4. К какому решению пришли молодые люди Марья Гавриловна и Владимир Николаевич? Прочитайте отрывок из текста, где об этом говорится.
5. Расскажите о плане побега Марьи Гавриловны из родительского дома? Почему Марья Гавриловна колебалась перед побегом?
6. Как погода влияла на настроение Марьи Гавриловны?
7. Чем был занят Владимир в день побега?

II

Но едва Владимир выехал за околицу в поле, как поднялся ветер и сделалась такая метель, что он ничего не взвидел. В одну минуту дорогу занесло; окрестность исчезла во мгле мутной и желтоватой, сквозь которую летели белые хлопья снегу; небо слилось с землею. Владимир очутился в поле и напрасно хотел снова попасть на дорогу; лошадь ступала наудачу и поминутно то въезжала на сугроб, то проваливалась в яму; сани поминутно опрокидывались; Владимир старался только не потерять настоящего направления. Но ему казалось, что уже прошло более получаса, а он не доезжал еще до Жадринской рощи. Прошло еще около десяти минут; рощи все было не видать. Владимир ехал полем, пересеченным глубокими оврагами. Метель не утихала, небо не прояснялось. Лошадь начинала уставать, а с него пот катился градом, несмотря на то, что он поминутно был по пояс в снегу.

Наконец он увидел, что едет не в ту сторону. Владимир остановился: начал думать, припоминать, соображать, и уверился, что должно было взять ему вправо. Он поехал вправо. Лошадь его чуть ступала. Уже более часа был он в дороге. Жадрино должно было быть недалеко. Но он ехал, ехал, а полю не было конца. Все сугробы да овраги; поминутно сани опрокидывались, поминутно он их подымал. Время шло; Владимир начинал сильно беспокоиться.

Наконец в стороне что-то стало чернеть. Владимир поворотил туда. Приближаясь, увидел он рощу. Слава богу, подумал он, теперь близко. Он поехал около рощи, надеясь тотчас попасть на знакомую дорогу или объехать рощу кругом: Жадрино находилось тотчас за нею. Скоро нашел он

дорогу и въехал во мрак дерев, обнаженных зимою. Ветер не мог тут свирепствовать; дорога была гладкая; лошадь ободрилась, и Владимир успокоился.

Но он ехал, ехал, а Жадрина было не видать; роще не было конца. Владимир с ужасом увидел, что он заехал в незнакомый лес. Отчаяние овладело им. Он ударил по лошади; бедное животное пошло было рысью, но скоро стало приставать и через четверть часа пошло шагом, несмотря на все усилия несчастного Владимира.

Мало-помалу деревья начали редеть, и Владимир выехал из лесу; Жадрина было не видать. Должно было быть около полуночи. Слезы брызнули из глаз его; он поехал наудачу. Погода утихла, тучи расходились, перед ним лежала равнина, устланная белым волнистым ковром. Ночь была довольно ясна. Он увидел невдалеке деревушку, состоящую из четырех или пяти дворов. Владимир поехал к ней. У первой избытки он выпрыгнул из саней, подбежал к окну и стал стучаться. Через несколько минут деревянный ставень поднялся, и старик высунул свою седую бороду. «Что те надо?» — «Далеко ли Жадрино?» — «Жадрино-то далеко ли?» — «Да, да! Далеко ли?» — «Недалече; верст десяток будет». При сем ответе Владимир схватил себя за волосы и остался недвижим, как человек, приговоренный к смерти.

Пели петухи и было уже светло, как достигли они Жадрина. Церковь была заперта. Владимир <...> поехал на двор к священнику. На дворе тройки его не было. Какое известие ожидало его?

Но возвратимся к добрым ненарадновским помещикам и посмотрим, что-то у них делается.

Старики проснулись и вышли в гостиную. Подали самовар, и Гаврила Гаврилович послал девчонку узнать от Марьи Гавриловны, каково ее здоровье и как она почивала. Девчонка воротилась, объявляя, что барышня почивала-де дурно, но что ей теперь-де легче и что она сейчас-де придет в гостиную, на самом деле, дверь отворилась, и Марья Гавриловна подошла здороваться с папенькой и с маменькой.

«Что твоя голова, Маша?» — спросил Гаврила Гаврилович. «Лучше, папенька», — отвечала Маша. «Ты верно, Маша, вчерась угорела», — сказала Прасковья Петровна. «Может быть, маменька», — отвечала Маша.

День прошел благополучно, но в ночь Маша занемогла. Послали в город за лекарем. Он приехал к вечеру и нашел больную в бреду. Открылась сильная горячка, и бедная больная две недели находилась у края гроба.

Никто в доме не знал о предположенном побеге. Письмо, накануне ею написанное, было сожжено; ее горничная никому ни о чем не говорила, опасаясь гнева господ.

Между тем барышня стала выздоравливать. Владимира давно не

видно было в доме Гаврилы Гавриловича. Он был напуган обыкновенным приемом. Положили послать за ним и объявить ему неожиданное счастье: согласие на брак. Но каково было изумление ненарадовских помещиков, когда в ответ они от него получили полусумасшедшее письмо! Он объявлял им, что ноги его не будет никогда в их доме, и просил забыть о несчастном, для которого смерть остается единою надеждою. Через несколько дней узнали они, что Владимир уехал в армию. Это было в 1812 г.

Долго не смели объявить об этом выздоравливающей Маше. Она никогда не упоминала о Владимире. Несколько месяцев уже спустя нашла имя его в числе отличившихся и тяжело раненных под Бородино.

Другая печаль ее посетила: Гаврила Гаврилович скончался, оставя ее наследницей всего имения. Но наследство не утешало ее: она разделяла искренно горесть бедной Прасковьи Петровны, клялась никогда с нею не расставаться: обе они оставили Ненарадово, место печальных воспоминаний, и поехали жить в ***ское поместье.

Женихи кружились и тут около милой и богатой невесты; но она никому не подавала и малейшей надежды. Мать иногда уговаривала ее выбрать себе друга; Марья Гавриловна качала головой и задумывалась. Владимир уже не существовал: он умер в Москве.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Прочитайте описание метели. Какие выражения использует автор?
2. Что случилось с Владимиром во время метели? Что он при этом чувствовал?
3. Что произошло в семье ненарадовских помещиков в утро после побега?
4. Что случилось с Машей? Подберите слова, которыми можно заменить выражения «занемогла», «нашел больную в бреду», «находилась у края гроба».
5. Что решили Машины родители?
6. Что вызвало изумление помещиков в ответе Владимира?
7. Какие события произошли с героями повести после неудачного побега?

III

<...> Несмотря на ее холодность, Марья Гавриловна все по-прежнему окружена была искателями. Но все должны были отступить, когда явился в ее замке раненый гусарский полковник Бурмин.

Бурмин был очень милый молодой человек. Он имел именно тот ум, который нравится женщинам: ум приличия и наблюдения, безо всяких притязаний и беспечно насмешливый. Поведение его с Марьей Гавриловной

было просто и свободно: но что б она ни сказала или ни сделала, душа и взоры его так за нею и следовали. Он казался нрава тихого и скромного, но молва уверяла, что некогда был он ужасным повесою, и это не вредило ему во мнении Марьи Гавриловны.

Но более всего молчание молодого гусара более всего подстрекало ее любопытство и воображение. Она не могла не сознаваться в том, что она очень ему нравилась; вероятно, и он, со своим умом и опытностью, мог уже заметить, что она отличала его: каким же образом до сих пор не видала она его у своих ног и еще не слыхала его признания? Что удерживало его? робость, гордость или кокетство хитрого волокиты? Это было для нее загадкою. Подумав хорошенько, она решила, что робость была единственной тому причиною, и положила ободрить его большею внимательностью и нежностью. Она приготавливала развязку самую неожиданную и с нетерпением ожидала минуты объяснения. Тайна, какого роду ни была бы, всегда тягостна женскому сердцу. Ее военные действия имели желаемый успех: по крайней мере, Бурмин впал в такую задумчивость и черные глаза его с таким огнем останавливались на Марье Гавриловне, что решительная минута, казалось, уже близка. Соседи говорили о свадьбе, как о деле уже конченном, а добрая Прасковья Петровна радовалась, что дочь ее наконец нашла себе достойного жениха.

Старушка сидела однажды одна в гостиной, Бурмин вошел в комнату и тотчас осведомился о Марье Гавриловне. «Она в саду, — отвечала старушка, — подите к ней, а я вас буду здесь ожидать». Бурмин пошел, а старушка перекрестилась и подумала: авось дело сегодня же кончится!

Бурмин нашел Марью Гавриловну у пруда, под ивою, с книгою в руках и в белом платье, настоящей героинею романа. Бурмин объявил, что искал давно случая открыть ей свое сердце, и потребовал минуты внимания. Марья Гавриловна закрыла книгу и потупила глаза в знак согласия.

«Я вас люблю, — сказал Бурмин, — я вас люблю страстно...» (Марья Гавриловна покраснела и наклонила голову еще ниже.) «Я поступил неосторожно, предаваясь милой привычке, привычке видеть и слышать вас ежедневно... Но мне еще остается исполнить тяжелую обязанность, открыть вам ужасную тайну и положить между нами непреодолимую преграду... Да, я знаю, я чувствую, что вы были бы моею, но — я несчастнейшее создание... я женат!»

Марья Гавриловна взглянула на него с удивлением.

— Я женат, — продолжал Бурмин, — я женат уже четвертый год и не знаю, кто моя жена, и где она, и должен ли свидеться с нею когда-нибудь!

— Что вы говорите? — воскликнула Марья Гавриловна, — как это странно! Продолжайте; я расскажу после... но продолжайте, сделайте милость.

— В начале 1812 года, — сказал Бурмин, — я спешил в Вильну, где находился наш полк. Приехав однажды на станцию поздно вечером, я велел было поскорее закладывать лошадей, как вдруг поднялась ужасная метель, и смотритель и ямщики советовали мне переждать. Я их послушался, но непонятное беспокойство овладело мною; казалось, кто-то меня так и толкал. Между тем метель не унималась; я не вытерпел, приказал опять закладывать и поехал в самую бурю. Ямщику вздумалось ехать рекою, что должно было сократить нам путь. Берега были занесены; ямщик проехал мимо того места, где выезжали на дорогу, и таким образом очутились мы в незнакомой стороне. Буря не утихала; я увидел огонек и велел ехать туда. Мы приехали в деревню; в деревянной церкви был огонь. Церковь была отворена, за оградой стояло несколько саней: по па́перти ¹ ходили люди. «Сюда! сюда!» — закричало несколько голосов. Я велел ямщику подъехать. «Помилуй, где ты замешкался? — сказал мне кто-то, — невеста в обмороке; поп не знает, что делать; мы готовы были ехать назад. Выходи же скорее». Я молча выпрыгнул из саней и вошел в церковь, слабо освещенную двумя или тремя свечами. Девушка сидела на лавочке в темном углу церкви; другая терла ей виски. «Слава богу, — сказала эта, — насилу вы приехали. Чуть было вы барышню не уморили». Старый священник подошел ко мне с вопросом: «Прикажете начинать?» — «Начинайте, начинайте, батюшка», — отвечал я рассеянно. Девушку подняли. Она показалась мне недурна... Непонятная, непростительная ветреность... я стал подле нее перед нало́ем ²; священник торопился: трое мужчин и горничная поддерживали невесту и заняты были только ею. Нас обвенчали. «Поцелуйтесь», — сказали нам. Жена моя обратила ко мне бледное свое лицо. Я хотел было ее поцеловать... Она вскрикнула: «Ай, не он! не он!» и упала без памяти. Свидетели устремили на меня испуганные глаза. Я повернулся, вышел из церкви безо всякого препятствия, бросился в кибитку и закричал: «Пошел!»

— Боже мой! — закричала Марья Гавриловна, — и вы не знаете, что сделалось с бедной вашею женою?

— Не знаю, — отвечал Бурмин, — не знаю, как зовут деревню, где я венчался, не помню, с которой станции поехал. В то время я так мало полагал важности в преступной моей проказе, что, отъехав от церкви, заснул и проснулся на другой день поутру, на третьей уже станции. Слуга, бывший тогда со мною, умер в походе, так что я не имею и надежды отыскать ту, над которой подшутил я так жестоко и которая теперь так жестоко отомщена.

— Боже мой, боже мой! — сказала Марья Гавриловна, схватив его руку, — так это были вы! И вы не узнаете меня?

Бурмин побледнел... и бросился к ее ногам...

¹ *Па́перть* — площадка перед входом в церковь.

² *Налóй* — столик в церкви, на который кладут иконы или книги.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Какую характеристику дает автор гусарскому полковнику Бурмину?
2. Что было непонятно Марье Гавриловне в поведении Бурмина?
3. Какую тайну рассказал Бурмин при объяснении с Марьей Гавриловной?
4. Чем разрешились две тайны — Марьи Гавриловны и Бурмина?
5. Понравилась ли вам повесть?
6. Почему А. С. Пушкин назвал ее «Метель»?
7. Выберите из предложенных поговорок подходящие по смыслу к повести:
 - *Суженого конем не объедешь.*
 - *Бедность не порок.*
 - *Жить не с богатством, а с человеком.*
8. Озаглавьте каждую часть повести.
9. Расскажите основные события каждой части.

МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ ЛЕРМОНТОВ

(1814 — 1841)

Жизнь поэта была непродолжительной, но яркой богатой событиями и переживаниями. Ни один русский поэт не создал такого количества талантливых произведений за столь короткое время.

Михаил Юрьевич Лермонтов родился в Москве 3 октября 1814 года. Его мать была родом из богатой и знатной семьи, отец — беден и незнатен. Детство М. Ю. Лермонтова оставило в нем тяжелые воспоминания. Недолгий и непризнанный брак родителей будущего поэта оборвался со смертью матери в 1817 году. Рано осиротевший мальчик рос в разлуке с отцом, которого также потерял довольно рано, в 1831 году. Бабушка не любила отца Лермонтова и заставила его отказаться от воспитания сына. Михаил Юрьевич воспитывался у горячо любящей его бабушки Е. А. Арсеньевой в Пензенском имении Тарханы, но, несмотря на ее заботы, не ощущал себя счастливым.

В возрасте 14 лет он переехал с бабушкой в Москву, поступил в Благородный пансион при Московском университете. Увлечение литературой привело к тому, что именно в рукописных журналах Лермонтов публикует свои первые произведения — «Осень», «Парус», «Два

великана». В 1830 году он стал студентом Московского университета, а в 1832 году переехал в Петербург и поступил в кавалерийскую школу. По окончании школы М. Ю. Лермонтов поступил на службу в гвардейский гусарский полк под Петербургом. Здесь он написал драму «Маскарад».

Природа щедро одарила М. Ю. Лермонтова способностями и дарованиями, он постоянно их развивал и совершенствовал: владел французским, немецким, английским языками, обладал хорошей памятью и живым воображением, легко решал сложные математические и шахматные задачи, играл на скрипке, фортепиано, флейте, пел и сочинял музыку на собственные стихи. К этому можно добавить талант художника.

Всероссийская слава родилась в день гибели А. С. Пушкина, когда М. Ю. Лермонтов написал стихотворение «Смерть Поэта» — беспощадное обвинение всем повинным в травле и гибели великого поэта. Он считал, что назначение поэзии в том, чтобы говорить с народом, призывать его на подвиги во имя свободы. Но именно это стихотворение стало причиной его ссылки на Кавказ по указу разгневанного царя. Через год М. Ю. Лермонтову удалось вернуться. В это время он много пишет, публикует, его талант достиг своего расцвета. Но гонения властей на поэта не прекратились. Вторая ссылка на Кавказ по незначительному поводу была особо строгой: поэт попал в полк, принимавший участие в военных действиях, и сражался в боях, проявляя чудеса храбрости. Однако его регулярно вычеркивали из списков представленных к награде. Лермонтов в этот период работал над поэмами «Демон», «Мцыри» и романом «Герой нашего времени».

В 1841 году нелепая ссора М. Ю. Лермонтова с недоброжелательно настроенным майором Мартыновым закончилась трагической дуэлью.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Что вы узнали о семье М. Ю. Лермонтова?
2. Где учился М. Ю. Лермонтов?
3. После какого стихотворения к М. Ю. Лермонтову пришла всероссийская слава?
4. За что М. Ю. Лермонтова отправили на Кавказ? Расскажите о годах ссылки.
5. Как погиб М. Ю. Лермонтов?
6. Какие произведения М. Ю. Лермонтова вы читали? Назовите их.

Три пальмы
Восточное сказание
(В сокращении)

В печальных степях аравийской земли
Три гордые пальмы высоко росли.
Родник между ними из почвы бесплодной,
Журча, пробивался волною холодной,
Хранимый, под сенью зелёных листов,
От знойных лучей и летучих песков.

Вот к пальмам подходит, шумя, караван:
В тени их весёлый раскинулся стан.
Кувшины звуча налилися водою,
И, гордо кивая махровой главою,
Приветствуют пальмы нежданных гостей,

И щедро поит их студёный ручей.
Но только что сумрак на землю упал,
По корням упругим топор застучал,
И пали без жизни питомцы столетий!
Одежду их сорвали малые дети,
Изрублены были тела их потом,
И медленно жгли их до утра огнём.

Когда же на запад умчался туман,
Урочный свой путь совершал караван,
И следом печальным на почве бесплодной
Виднелся лишь пепел седой и холодный,
И солнце остатки сухие дожгло,
А ветром их в степи потом разнесло.

И ныне всё дико и пусто кругом —
Не шепчутся листья с гремучим ключом:
Напрасно пророка о тени он просит —
Его лишь песок раскалённый заносит,
Да коршун хохлатый, степной нелюдим,
Добычу терзает и щиплет над ним.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Где произошли изображённые в стихотворении события? Найдите это

- место на карте. Что вам известно о климате этих мест?
2. О чём рассказывается в стихотворении М. Ю. Лермонтова?
 3. На сколько частей его можно разделить? О чём говорится в каждой части? Озаглавьте каждую часть.
 4. Объясните, как вы понимаете следующие выражения: *почва «бесплодная», «под сенью зелёных листов», «сумрак на землю упал», «и пали без жизни питомцы столетий».*
 5. Прочтите первую строфу. Передайте содержание своими словами. Прочтите последнюю строфу. Кто виноват в том, что ранее цветущее место превратилось в дикое и пустое?
 6. Прочтите строки, где говорится о том, как обошлись люди с пальмами и родником.
 7. Чему учит это стихотворение?
 8. Поупражняйтесь в определении изобразительных средств языка. В первой строфе найдите эпитеты. Как они помогают нарисовать картину жаркой пустыни и живительного уголка природы?
 9. Самостоятельно прочитайте третью строфу. Найдите: 1) эпитеты, 2) рифмующиеся слова.
 10. Скажите, как помогают изобразительные средства языка воссоздать картину варварского (*жестокого*) разрушения природы.

БЭЛА

(Отрывок из романа «Герой нашего времени»)

Раз, осенью, пришел транспорт с провиантом¹; в транспорте был офицер, молодой человек лет двадцати пяти. Он явился ко мне в полной форме и объявил, что ему велено остаться у меня в крепости. Он был такой тоненький, беленький, на нем мундир был такой новенький, что я тотчас догадался, что он на Кавказе у нас недавно. «Вы, верно, — спросил я его, — переведены сюда из России?» — «Точно так, господин штабс-капитан», — отвечал он. Я взял его за руку и сказал: «Очень рад, очень рад. Вам будет немножко скучно... ну, да мы с вами будем жить по-приятельски. Да, пожалуйста, зовите меня просто Максим Максимыч». Ему отвели квартиру, и он поселился в крепости.

— А как его звали? — спросил я Максима Максимыча.

— Его звали... Григорием Александровичем Печориным. Славный был малый, только немножко странен. Ведь, например, в дождик, в холод целый день на охоте; все иззябнут, устанут — а ему ничего. А другой раз сидит у себя в комнате, ветер пахнет, уверяет, что простудился; ставнем

стукнет, он вздрогнет и побледнеет; а при мне ходил на кабана один на один; бывало, по целым часам слова не добьешься, зато уж иногда как начнет рассказывать, так животики надорвешь со смеха.

— А долго он с вами жил? — спросил я.

— Да с год. Ну да уж зато памятен мне этот год; наделал он мне хлопот. Ведь есть, право, этакие люди, у которых на роду написано, что с ними должны случаться разные необыкновенные вещи!

— Необыкновенные? — воскликнул я.

— А вот я вам расскажу. Верст² шесть от крепости жил один мирной³ князь. Сынишка его, мальчик лет пятнадцати, повадился к нам ездить: всякий день, бывало, то затем, то за другим. И уж точно, избаловали мы его с Григорьем Александровичем. А уж какой был головорез, проворный на что хочешь: шапку ли поднять на всем скаку, из ружья ли стрелять. Одно было в нем нехорошо: ужасно падок был на деньги. Раз, для смеха, Григорий Александрович обещал ему дать червонец, коли он ему украдет лучшего козла из отцовского стада; и что ж вы думаете? на другую же ночь притащил его за рога. А бывало, мы его вздумаем дразнить, так глаза кровью и нальются, и сейчас за кинжал. «Эй, Азамат, не сносить тебе головы», — говорил я ему.

Раз приезжает сам старый князь звать нас на свадьбу: он отдавал старшую дочь замуж, а мы были с ним кунаки⁴. Отправились.

Нас приняли со всеми почестями.

— Как же у них празднуют свадьбу? — спросил я штабс-капитана.

— Да обыкновенно. Сначала мулла⁵ прочитает им что-то из Корана; потом дарят молодых и всех их родственников; едят, пьют бузу⁶; потом начинается джигитовка, потом бал. Мы с Печориным сидели на почетном месте, и вот к нему подошла меньшая дочь хозяина, девушка лет шестнадцати, пропела ему... как бы сказать?... вроде комплимента.

¹ *Прови́ант* — продовольствие для военных.

² *Верста́* — старинная мера длины, равная 1,06 км.

³ *Мирно́й* — миролюбивый, не участвующий в войне.

⁴ *Кунаки́* — приятели.

⁵ *Мулла́* — служитель церкви.

⁶ *Буза́* — легкий хмельной напиток.

Когда она от нас отошла, тогда я шепнул Григорию Александровичу: «Ну что, какова?» — «Прелесть! — отвечал он. — А как ее зовут?» — «Ее зовут Бэлою», — отвечал я.

И точно, она была хороша: высокая, тоненькая, глаза черные, как у

горной серны, так и заглядывали к вам в душу. Печорин в задумчивости не сводил с нее глаз, и она частенько исподлобья на него посматривала. Только не один Печорин любовался хорошенькой княжной: из угла комнаты на нее смотрели другие два глаза, неподвижные, огненные. Я стал вглядываться и узнал моего старого знакомого Казбича. Он, знаете, был не то, чтоб мирной, не то, чтоб немирной. Подозрений на него было много, хоть он ни в какой шалости не был замечен. Бывало, он проводил к нам в крепость баранов и продавал дешево, только никогда не торговался: что запросит, давай, — хоть зарежь, не уступит. <...> маленький, сухой, широкоплечий... А уж ловок-то, ловок — то был! Бешмёт ¹ всегда изорванный, в заплатках, а оружие в серебре. А лошадь его славилась — и точно, лучше этой лошади ничего выдумать невозможно. Недаром ему завидовали все наездники и не раз пытались ее украсть, только не удавалось. Как теперь гляжу на эту лошадь: вороная как смоль, ноги — струнки, и глаза не хуже, чем у Бэлы; а какая сила! скачи хоть на пятьдесят верст; а уж выезжена — как собака бегаёт за хозяином, голос даже его знала! Бывало, он ее никогда и не привязывает. Уж такая разбойничья лошадь!..

В это вечер Казбич был угрюмее, чем когда-нибудь, и я заметил, что у него под бешметом надета кольчуга. «Недаром на нем эта кольчуга, — подумал я, — уж он, верно, что-нибудь замышляет».

Душно стало в сáкле ², и я вышел на воздух освежиться. Ночь уж ложилась на горы, и туман начинал бродить по ущельям.

Мне вздумалось завернуть под навес, где стояли наши лошади, посмотреть, есть ли у них корм, и притом осторожность никогда не мешает.

Пробираюсь вдоль забора и вдруг слышу голоса; один голос я тотчас узнал: это был повеса Азамат; другой говорил реже и тише. Вот присел я у забора и стал прислушиваться.

— Славная у тебя лошадь! — говорил Азамат, — если б я был хозяин в доме и имел табун в триста кобыл, то отдал бы половину за твоего скакуна, Казбич!

— Да, — отвечал Казбич. — Не найдешь такой. Раз, — это было за Тереком, — я ездил с абрэками ³ отбивать русские табуны; нам не посчастливилось, и мы рассыпались кто куда. За мной неслись четыре казака; уж я слышал за собою крик гяуров, и передо мною был густой лес. Прилег я на седло, и в первый раз в жизни оскорбил коня ударом плети. Как птица нырнул он между ветвями; острые колючки рвали мою одежду, сухие сучья карагача били меня по лицу. Конь мой прыгал через пни, разрывал кусты грудью. Лучше было бы мне его бросить у опушки и скрыться в лесу пешком, да жаль было с ним расстаться. Несколько пуль провизжало над моей головою; я уж слышал, как спешившиеся казаки бежали по следам... Вдруг передо мной рытвина глубокая; скакун мой призадумался — и

прыгнул. Задние его копыта оборвались с противоположного берега, и он повис на передних ногах. Я бросил поводья и полетел в овраг; это спасло моего коня: он выскочил. Казаки все это видели, только ни один не спустился меня искать: они, верно, думали, что я убится до смерти, и я слышал, как они бросились ловить моего коня. Сердце мое облилось кровью; пополз я по густой траве вдоль по оврагу, — смотрю: лес кончился, несколько казаков выезжает из него на поляну, и вот выскакивает прямо к ним мой Карагёз; все кинулись за ним с криком; долго, долго они за ним гонялись, особенно один раза два чуть-чуть не накинул ему на шею аркана; я задрожал, опустил глаза и начал молиться. Через несколько мгновений поднимаю их — и вижу: мой Карагёз летит, развевая хвост, вольный как ветер. До поздней ночи я сидел в своем овраге. Вдруг, что же ты думаешь, Азамат? во мраке слышу, бегают по берегу оврага конь, фыркает, ржет и бьет копытами о землю; я узнал голос моего Карагёза: это был он, мой товарищ!.. С тех пор мы не разлучались.

И слышно было, как он трепал рукою по гладкой шее своего скакуна, давая ему разные нежные названья.

— Если б у меня был табун в тысячу кобыл, — сказал Азамат, — то отдал бы тебе весь за твоего Карагёза.

— Нет, — отвечал равнодушно Казбич.

— Послушай, Казбич, — говорил, ласкаясь к нему, Азамат, — ты добрый человек, ты храбрый джигит, а мой отец боится русских и не пускает меня в горы; отдай мне свою лошадь, и я сделаю все, что ты хочешь, украду для тебя у отца лучшую его винтовку или шашку, что только пожелаешь.

Казбич молчал.

— В первый раз, как я увидел твоего коня, когда он под тобой крутился и прыгал, раздувая ноздри, и кремни брызгами летели из-под копыт его, в моей душе сделалось что-то непонятное, и с тех пор все мне опостылело: на лучших скакунов моего отца смотрел я с презрением, стыдно было мне на них показаться, и тоска овладела мной; и, тоскуя, просиживал я на утесе целые дни, и ежеминутно мыслям моим являлся вороной скакун твой с своей стройной поступью, с своим гладким, прямым, как стрела, хребтом; он смотрел мне в глаза своими бойкими глазами, как будто хотел слово вымолвить. Я умру, Казбич, если ты мне не продашь его! — сказал Азамат дрожащим голосом.

Мне послышалось, что он заплакал: а надо вам сказать, что Азамат был преупрямый мальчишка, и ничем, бывало, у него слез не выбьешь, даже когда он был и помоложе.

В ответ на его слезы послышалось что-то вроде смеха.

— Послушай! — сказал твердым голосом Азамат, — видишь, я на все

решаюсь. Хочешь, я украду для тебя мою сестру? Как она пляшет! как поет! а вышивает золотом — чудо! Не бывало такой жены и у турецкого падишаха... Хочешь? дождись меня завтра ночью там в ущелье, где бежит поток: я пойду с нею мимо в соседний аул, — и она твоя. Неужели не стоит Бэла твоего скакуна?

Напрасно упрашивал его Азамат согласиться, и плакал, и льстил ему, и клялся; наконец Казбич нетерпеливо прервал его:

— Поди прочь, безумный мальчишка! Где тебе ездить на моем коне? На первых трех шагах он тебя сбросит, и ты разобьешь себе затылок об камни.

— Меня! — крикнул Азамат в бешенстве, и железо детского кинжала зазвенело об кольчугу. Сильная рука оттолкнула его прочь, и он ударился об плетень так, что плетень зашатался. Через две минуты уж в сакле был ужасный гвалт. Вот что случилось: Азамат вбежал туда в разорванном бешмете, говоря, что Казбич хотел его зарезать. Все выскочили, схватились за ружья — и пошла потеха! Крик, шум, выстрелы; только Казбич уж был верхом и вертелся среди толпы по улице, отмахиваясь шашкой.

¹ *Беишмёт* — верхняя распашная одежда.

² *Сáкля* — жилище кавказских горцев.

³ *Абрéк* — горец.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Кто приехал осенью в крепость к Максиму Максимычу на службу? Найдите и прочитайте, как выглядел Печорин. В чем заключалась его странность?
2. Что рассказал Максим Максимыч об Азамате?
3. Кого Печорин встретил на свадьбе у князя? Прочитайте, как выглядела Бэла.
4. Свидетелем какого события был Максим Максимыч, выйдя со свадьбы ночью проведать коня?
5. Что предлагал Азамат Казбичу за его коня? Почему Казбич не отдал Азамату своего скакуна Карагёза? Ответ подтвердите примерами из текста.
6. Чем закончился разговор Азамата с Казбичем?

Дня через четыре приезжает Азамат в крепость. По обыкновению, он зашел к Григорию Александровичу, который его всегда кормил лакомствами. Я был тут. Зашел разговор о лошадях, и Печорин начал расхваливать лошадь Казбича: уж такая-то она резвая, красивая, словно

серна, ну, просто, по его словам, этакой и в целом мире нет.

Засверкали глазёнки у татарчонка, а Печорин будто не замечает. Эта история продолжалась всякий раз, как приезжал Азамат. Недели три спустя стал я замечать, что Азамат бледнеет и сохнет. Что за диво? ...

Вот видите, я уж после узнал всю эту штуку: Григорий Александрович до того его задразнил, что хоть в воду. Раз он ему и скажи:

— Вижу, Азамат, что тебе больно понравилась эта лошадь; а не видать тебе ее как своего затылка! Ну, скажи, что бы ты дал тому, кто тебе ее подарил бы?...

— Все, что он захочет, — отвечал Азамат.

— В таком случае я тебе ее достану, только с условием... Поклянись, что ты его исполнишь...

— Клянусь... Клянись и ты!

— Хорошо! Клянусь, ты будешь владеть конем; только за него ты должен отдать мне сестру Бэлу: Карагёз будет ее калымом¹. Надеюсь, что торг для тебя выгоден.

Азамат молчал.

— Не хочешь? Ну, как хочешь! Я думал, что ты мужчина, а ты еще ребенок: рано тебе ездить верхом...

Азамат вспыхнул.

— А мой отец? — сказал он.

— Разве он никогда не уезжает?

— Правда...

—Согласен?..

— Согласен, — прошептал Азамат, бледный как смерть. — Когда же?

— В первый раз, как Казбич приедет сюда; он обещался пригнать десяток баранов; остальное — мое дело. Смотри же, Азамат!

Вот они и сладили это дело... по правде сказать, нехорошее дело! Я после и говорил это Печорину, да только он мне отвечал, что дикая черкешенка должна быть счастлива, имея такого милого мужа, как он, потому что, по-ихнему, он все-таки ее муж, а что Казбич — разбойник, которого надо было наказать. Сами посудите, что ж я мог ответить против этого? ... Но в то время я ничего не знал об их заговоре. Вот раз приехал Казбич и спрашивает, не нужно ли баранов и меда; я велел ему привести на другой день.

— Азамат! — сказал Григорий Александрович, — завтра Карагёз в моих руках; если нынче ночью Бэла не будет здесь, то не видать тебе коня...

— Хорошо! — сказал Азамат и поскакал в аул.

Вечером Григорий Александрович вооружился и выехал из крепости: как они сладили это дело, не знаю, — только ночью они оба возвратились, и часовой видел, что поперек седла Азамата лежала женщина, у которой руки

и ноги были связаны, а голова окутана чадрой².

... На другой день утром рано приехал Казбич и пригнал десяток баранов на продажу. Привязав лошадь у забора, он вошел ко мне; я попотчевал его чаем, потому что хотя разбойник он, а все-таки был моим кунаком.

Стали мы болтать о том, о сем: вдруг, смотрю, Казбич вздрогнул, переменялся в лице — и к окну; но окно, к несчастью, выходило на задворье.

— Что с тобой? — спросил я.

— Моя лошадь!.., лошадь!.. — сказал он, весь дрожа.

Точно, я услышал топот копыт: «Это, верно, какой-нибудь казак приехал...».

— Нет! — заревел он и опрометью бросился вон, как дикий барс. В два прыжка он был уж на дворе; у ворот крепости часовой загородил ему путь ружьем; он перескочил через ружье и кинулся бежать по дороге... Вдали вилась пыль — Азамат скакал на лихом Карагёзе; на бегу Казбич выхватил из чехла ружье и выстрелил, с минуту он остался неподвижен, пока не убедился, что дал промах; потом завизжал, ударил ружье о камень, разбил его вдребезги, повалился на землю и зарыдал, как ребенок... Вот кругом него собрался народ из крепости — он никого не замечал; постояли, потолковали и пошли назад; я велел возле него положить деньги за баранов — он их не тронул, лежал себе ничком, как мертвый. Поверите ли, он так пролежал до поздней ночи и целую ночь?.. Только на другое утро пришел в крепость и стал просить, чтоб ему назвали похитителя. Часовой, который видел, как Азамат отвязал коня и ускакал на нем, не почел за нужное скрывать. При этом имени глаза Казбича засверкали, и он отправился в аул, где жил отец Азамата.

— Что же отец?

— Да в том-то и штука, что его Казбич не нашел: он куда-то уезжал дней на шесть, а то удалось бы Азамату увезти сестру?

А когда отец возвратился, то ни дочери, ни сына не было. Такой хитрец: ведь смекнул, что не сносить ему головы, если б он попался. Так с тех пор и пропал: верно, пристал к какой-нибудь шайке абреков, да и сложил буйную голову за Тереком или за Кубанью: туда и дорога!..

¹ *Калым* — выкуп за невесту.

² *Чадрá* — легкое покрывало, закрывающее голову, лицо женщины и спускающееся по плечам вниз до ног.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Почему Азамат стал «бледнеть и сохнуть»?

2. Какой заговор придумали Печорин и Азамат? Прочитайте их разговор по ролям.
3. Расскажите, как Азамат похитил лошадь Казбича.
4. Найдите и прочитайте, как Казбич переживал потерю Карагёза.
5. Разбейте текст на части, озаглавьте каждую часть и сделайте краткий пересказ.

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ

(1818 — 1883)

Иван Сергеевич Тургенев по отцу принадлежал к старинному дворянскому роду — имена его предков встречались в описаниях исторических событий со времен Ивана Грозного.

В Смутное время один из Тургеневых — Петр Никитич — был казнен на Лобном месте за то, что обличал Лжедмитрия.

Отец писателя начал службу в кавалергардском полку и ко времени встречи с будущей женой был в чине поручика. Мать — богатая помещица, владелица усадьбы Спасское Мценского уезда Орловской губернии.

Все управление усадьбой Спасское было в руках матери Варвары Петровны. Вокруг просторного двухэтажного господского дома, построенного в форме подковы, были разбиты сады, устроены оранжереи, парники. Аллеи образовывали римскую цифру XIX, обозначающую век, в который возникло Спасское. Мальчик рано стал замечать, что все вокруг подчинено дикому произволу, капризам властных родителей. Осознание этого омрачало любовь к Спасскому и его природе.

Детские и юношеские воспоминания о жизни в Спасском глубоко запали в душу Тургенева и нашли потом отражение в его рассказах. «Моя биография, — сказал он однажды, — в моих произведениях». Отдельные черты характера Варвары Петровны угадываются в образах некоторых героинь Тургенева («Муму»).

В домашней библиотеке было много книг на русском, английском, немецком языках, но большинство книг было на французском языке.

С гувернерами и домашними учителями постоянно происходили какие-нибудь недоразумения. Их часто меняли. Будущего писателя занимала природа, охота, рыбная ловля.

Но вот пришла пора расстаться со Спасским на долгое время. Тургеневы решили переселиться в Москву, чтобы подготовить детей к поступлению в учебные заведения. Купили дом на Самотеке. Сначала дети были помещены в пансион, после выхода из него снова усердные занятия с

учителями: шла подготовка к поступлению в Университет. В результате преподаватели отметили высокий уровень развития подростков. Отец в письмах призывает сыновей больше писать письма на русском, а не на французском и немецком языках. Тургеневу не исполнилось еще и пятнадцати лет, когда он подал прошение в Московский университет, на словесное отделение.

Начало 1830-х годов было ознаменовано пребыванием в Университете таких замечательных людей, как Белинский, Лермонтов, Гончаров, Тургенев и др. Но проучился там будущий писатель всего год. Родители переехали в Петербург, и он перевелся на филологическое отделение философского факультета Петербургского университета. Вскоре Тургенев начал писать драматическую поэму. Небольшие стихотворения были созданы им еще в Москве. На первом году его жизни в Петербурге произошла встреча с Жуковским, он сблизился с профессором П. А. Плетневым, с Грановским. Кумиром друзей стал А. С. Пушкин. Тургеневу не было еще и восемнадцати лет, когда появилось его первое произведение.

Для завершения образования он уезжает в Берлинский университет. Немецких профессоров поражала неутолимая жажда знаний у русских студентов, готовность принести все в жертву истине, жажда деятельности на благо родины. В начале декабря 1842 года Тургенев возвращается из-за границы в Петербург. Он с удвоенной силой отдается творческому труду.

По Н. Богословскому

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Где родился И. С. Тургенев?
2. Расскажите о семье писателя.
3. Каким было детство писателя?
4. Какое образование получил И. С. Тургенев?
5. Какие произведения И. С. Тургенева вы читали? Назовите их.

АСЯ

(Отрывки в сокращении)

Мне было тогда лет двадцать пять, — начал Н. Н., — дела давно минувших дней, как видите. Я только что вырвался на волю и уехал за границу, не для того, чтобы «окончить мое воспитание», как говаривалось тогда, а просто мне захотелось посмотреть на мир божий. Я был здоров, молод, весел, деньги у меня не переводились, заботы еще не успели

завестись — я жил без оглядки, делал что хотел, процветал, одним словом. Мне тогда и в голову не приходило, что человек не растение и процветать ему долго нельзя. Молодость ест пряники золоченые, да и думает, что это-то и есть хлеб насущный; а придет время — и хлебца напросишься. Но толковать об этом не для чего. Я путешествовал без всякой цели, без плана; останавливался везде, где мне нравилось, и отправлялся тотчас далее, как только чувствовал желание видеть новые лица — именно лица.

<...> Итак, лет двадцать тому назад я проживал в немецком небольшом городке З., на левом берегу Рейна. Я часто ходил смотреть на величавую реку и, не без некоторого напряжения мечтая о коварной вдове, просиживал долгие часы на каменной скамье под одиноким огромным ясенем. Маленькая статуя мадонны с почти детским лицом и красным сердцем на груди, пронзенным мечами, печально выглядывала из его ветвей. На противоположном берегу находился городок Л., немного побольше того, в котором я поселился.

Однажды вечером сидел я на своей любимой скамье и глядел то на реку, то на небо, то на виноградники. Передо мною белоголовые мальчишки карабкались по бокам лодки, вытасченной на берег и опрокинутой намоленным брюхом кверху. Кораблики тихо бежали на слабо надувшихся парусах; зеленоватые волны скользили мимо, чуть-чуть вспухая и урча. Вдруг донеслись до меня звуки музыки; я прислушался. В городе Л. играли вальс; контрабас гудел отрывисто, скрипка неясно заливалась, флейта свистала бойко.— Что это? — спросил я у подошедшего ко мне старика в плисовом жилете, синих чулках и башмаках с пряжками.— Это, — отвечал он мне, предварительно передвинув мундштук своей трубки из одного угла губ в другой, — студенты приехали из Б. на коммёрш¹. «А посмотрю-ка я на этот коммерш, — подумал я, — кстати же я в Л. не бывал». Я отыскал перевозчика и отправился на другую сторону.

¹ *Коммёрш* — студенческий пир (в Германии).

<...> На улице, перед низкой оградой сада, собралось довольно много народа: добрые граждане городка Л. не хотели пропустить случая поглазеть на заезжих гостей. Я тоже вмешался в толпу зрителей. Мне было весело смотреть на лица студентов; их объятия, восклицания, невинное кокетничанье молодости, горящие взгляды, смех без причины — лучший смех на свете — все это радостное кипение жизни юной, свежей, этот порыв вперед — куда бы то ни было, лишь бы вперед, — это добродушное раздолье меня трогало и поджигало. «Уж не пойти ли к ним?» — спрашивал я себя...

– Ася, довольно тебе? – вдруг произнес за мною мужской голос по-русски.

– Подождем еще, – отвечал другой, женский голос на том же языке.

Я быстро обернулся... Взор мой упал на красивого молодого человека в фуражке и широкой куртке; он держал под руку девушку невысокого роста, в соломенной шляпе, закрывавшей всю верхнюю часть ее лица.

– Вы русские? – сорвалось у меня невольно с языка.

Молодой человек улыбнулся и промолвил:

– Да, русские.

– Я никак не ожидал... в таком захолустье, – начал было я.

– И мы не ожидали, – перебил он меня, – что ж? тем лучше. Позвольте рекомендоваться: меня зовут Гагиным, а вот это моя... – он запнулся на мгновение, – моя сестра. А ваше имя позвольте узнать?

Я назвал себя, и мы разговорились. Я узнал, что Гагин, путешествуя, так же как я, для своего удовольствия, неделю тому назад заехал в городок Л. да и застрял в нем.

Девушка, которую он назвал своей сестрою, с первого взгляда показалась мне очень милостивой. Было что-то свое, особенное, в складе ее смугловатого, круглого лица, с небольшим тонким носом, почти детскими щечками и черными, светлыми глазами. Она была грациозно сложена, но как будто не вполне еще развита. Она нисколько не походила на своего брата.

– Хотите вы зайти к нам? – сказал мне Гагин, – кажется, довольно мы насмотрелись на немцев. Наши бы, правда, стекла разбили и поломали стулья, но эти уж больно скромны. Как ты думаешь, Ася, пойти нам домой?

Девушка утвердительно качнула головой.

– Мы живем за городом, – продолжал Гагин, – в винограднике, в одиноком домишке, высоко. У нас славно, посмотрите. Хозяйка обещала приготовить нам кислого молока. Теперь же скоро стемнеет, и вам лучше будет переезжать Рейн при луне.

Мы отправились. Чрез низкие ворота города (старинная стена из булыжника окружала его со всех сторон, даже бойницы не все еще обрушились) мы вышли в поле и, пройдя шагов сто вдоль каменной ограды, остановились перед узенькой калиткой. Гагин отворил ее и повел нас в гору по крутой тропинке. С обеих сторон, на уступах, рос виноград; солнце только что село, и алый тонкий свет лежал на зеленых лозах, на высоких тычинках, на сухой земле, усеянной сплошь крупным и мелким плитняком, и на белой стене небольшого домика, с косыми черными перекладинами и четырьмя светлыми окошками, стоявшего на самом вершине горы, по которой мы взбирались.

– Вот и наше жилище! – воскликнул Гагин, как только мы стали

приближаться к домику, – а вот и хозяйка несет молоко. Мы сейчас примемся за еду; но прежде, – прибавил он, – оглянитесь... каков вид?

Вид был точно чудесный. Рейн лежал перед нами весь серебряный, между зелеными берегами; в одном месте он горел багряным золотом заката. Приютившийся к берегу городок показывал все свои дома и улицы; широко разбегались холмы и поля. Внизу было хорошо, но наверху еще лучше: меня особенно поразила чистота и глубина неба, сияющая прозрачность воздуха. Свежий и легкий, он тихо колыхался и перекатывался волнами, словно и ему было раздольнее на высоте.

– Отличную вы выбрали квартиру, – промолвил я.

– Это Ася ее нашла, – отвечал Гагин, – ну-ка, Ася, – продолжал он, – распорядись. Вели все сюда подать. Мы станем ужинать на воздухе. Тут музыка слышнее. Заметили ли вы, – прибавил он, обратясь ко мне, – вблизи иной вальс никуда не годится – пошлые, грубые звуки, – а в отдаленье, чудо! так и шевелит в вас все романтические струны.

Ася (собственное имя ее было Анна, но Гагин называл ее Асей, и уж вы позвольте мне ее так называть) – Ася отправилась в дом и скоро вернулась вместе с хозяйкой. Они вдвоем несли большой поднос с горшком молока, тарелками, ложками, сахаром, ягодами, хлебом. Мы уселись и принялись за ужин. Ася сняла шляпу; ее черные волосы, остриженные и причесанные, как у мальчика, падали крупными завитками на шею и уши. Сначала она дичилась меня; но Гагин сказал ей:

– Ася, полно ежиться! он не кусается.

Она улыбнулась и немного спустя уже сама заговаривала со мной. Я не видал существа более подвижного. Ни одно мгновение она не сидела смирно; вставала, убегала в дом и прибегала снова, напевала вполголоса, часто смеялась, и престранным образом: казалось, она смеялась не тому, что слышала, а разным мыслям, приходившим ей в голову. Ее большие глаза глядели прямо, светло, смело, но иногда веки ее слегка щурились, и тогда взор ее внезапно становился глубок и нежен.

Мы проболтали часа два. День давно погас, и вечер, сперва весь огнистый, потом ясный и алый, потом бледный и смутный, тихо таял и переливался в ночь, а беседа наша все продолжалась, мирная и кроткая, как воздух, окружавший нас. Ася вдруг опустила голову, так что кудри ей на глаза упали, замолкла и вздохнула, а потом сказала нам, что хочет спать, и ушла в дом; я, однако, видел, как она, не зажигая свечи, долго стояла за нераскрытым окном.

– Пора! – воскликнул я, – а то, пожалуй, перевозчика не сыщешь.

– Пора, – повторил Гагин.

Мы пошли вниз по тропинке. Камни вдруг посыпались за нами: это Ася нас догоняла.

– Ты разве не спишь? – спросил ее брат, но она, не ответив ему ни слова, пробежала мимо.

Последние умиравшие плошки, зажженные студентами в саду гостиницы, освещали снизу листья деревьев, что придавало им праздничный и фантастический вид. Мы нашли Асю у берега: она разговаривала с перевозчиком. Я прыгнул в лодку и простился с новыми моими друзьями. Гагин обещал навестить меня на следующий день; я пожал его руку и протянул свою Асе; но она только посмотрела на меня и покачала головой. Лодка отчалила и понеслась по быстрой реке. Перевозчик, бодрый старик, с напряжением погружал весла в темную воду.

– Вы в лунный столб въехали, вы его разбили, – закричала мне Ася.

Я опустил глаза; вокруг лодки, чернея, колыхались волны.

– Прощайте! – раздался опять ее голос.

– До завтра, – проговорил за нею Гагин.

Лодка причалила. Я вышел и оглянулся. Никого уж не было видно на противоположном берегу. Я чувствовал себя счастливым... Но отчего я был счастлив? Я ничего не желал, я ни о чем не думал... Я был счастлив.

На другое утро (я уже проснулся, но еще не вставал) стук палки раздался у меня под окном, и голос, который я тотчас признал за голос Гагина, запел:

Ты спишь ли? Гитарой тебя разбужу...

Я поспешил ему отворить дверь.

– Здравствуйте, – сказал Гагин, входя, – я вас раненько потревожил, но посмотрите, какое утро. Свежесть, роса, жаворонки поют...

Я оделся; мы вышли в садик, сели на лавочку, велели подать себе кофе и принялись беседовать. Гагин сообщил мне свои планы на будущее: владея порядочным состоянием и ни от кого не завися, он хотел посвятить себя живописи и только сожалел о том, что поздно хватился за ум и много времени потратил по-пустому; я также упомянул о моих предположениях, да, кстати, поверил ему тайну моей несчастной любви. Он выслушал меня с снисхождением, но, сколько я мог заметить, сильного сочувствия к моей страсти я в нем не возбудил. Вздохнувши вслед за мной два из вежливости, Гагин предложил мне пойти к нему посмотреть его этюды. Я тотчас согласился.

Мы не застали Асю. Она, по словам хозяйки, отправилась на «развалину». Верстах в двух от города Л. находились остатки феодального замка. Гагин раскрыл мне все свои картоны. В его этюдах было много жизни и правды, что-то свободное и широкое; но ни один из них не был окончен, и

рисунок показался мне небрежен и неверен. Я откровенно высказал ему мое мнение.

– Да, да, – подхватил он со вздохом, – вы правы; все это очень плохо и незрело, что делать! Не учился я как следует, да и проклятая славянская распущенность берет свое. Пока мечтаешь о работе, так и паришь орлом: землю, кажется, сдвинул бы с места – а в исполнении тотчас слабеешь и устаешь.

Я начал было ободрять его, но он махнул рукой и, собравши картоны в охапку, бросил их на диван.

– Коли хватит терпенья, из меня выйдет что-нибудь, – промолвил он сквозь зубы, – не хватит, останусь недорослем из дворян. Пойдемте-ка лучше Асю отыскивать.

Мы пошли.

Дорога к развалине вилась по скату узкой лесистой долины; на дне ее бежал ручей и шумно прыдал через камни, как бы торопясь слиться с великой рекой, спокойно сиявшей за темной гранью круто рассеченных горных гребней. Гагин обратил мое внимание на некоторые счастливо освещенные места; в словах его слышался если не живописец, то уж наверное художник. Скоро показалась развалина. На самой вершине голой скалы возвышалась четырехугольная башня, вся черная, еще крепкая, но словно разрубленная продольной трещиной. Мшистые стены примыкали к башне; кой-где лепился плющ; искривленные деревца свешивались с седых бойниц и рухнувших сводов. Каменистая тропинка вела к уцелевшим воротам. Мы уже подходили к ним, как вдруг впереди нас мелькнула женская фигура, быстро перебежала по груде обломков и поместилась на уступе стены, прямо над пропастью.

– А ведь это Ася! – воскликнул Гагин, – экая сумасшедшая!

Мы вошли в ворота и очутились на небольшом дворике, до половины заросшем дикими яблонями и крапивой. На уступе сидела, точно, Ася. Она повернулась к нам лицом и засмеялась, но не тронулась с места. Гагин угрозил ей пальцем, а я громко упрекнул ее в неосторожности.

– Полноте, – сказал мне шепотом Гагин, – не дразните ее; вы ее не знаете: она, пожалуй, еще на башню взберется. А вот вы лучше подивитесь смышленности здешних жителей.

Я оглянулся. В уголке, приютившись в крошечном деревянном балаганчике, старушка вязала чулок и косилась на нас чрез очки. Ася продолжала сидеть неподвижно, подобрав под себя ноги и закутав голову кисейным шарфом; стройный облик ее отчетливо и красиво рисовался на ясном небе; но я с неприязненным чувством посматривал на нее. Уже

накануне заметил я в ней что-то напряженное, не совсем естественное... «Она хочет удивить нас, – думал я, – к чему это? Что за детская выходка?» Словно угадавши мои мысли, она вдруг бросила на меня быстрый и пронзительный взгляд, засмеялась опять, в два прыжка соскочила со стены и, подойдя к старушке, попросила у неё стакан воды.

– Ты думаешь, я хочу пить? – промолвила она, обратившись к брату, – нет; тут есть цветы на стенах, которые непременно полить надо.

Гагин ничего не отвечал ей; а она, со стаканом в руке, пустилась карабкаться по развалинам, изредка останавливаясь, наклоняясь и с забавной важностью роняя несколько капель воды, ярко блестевших на солнце. Ее движения были очень милы, но мне по-прежнему было досадно на нее, хотя я невольно любовался ее легкостью и ловкостью. На одном опасном месте она нарочно вскрикнула и потом захохотала... Мне стало еще досаднее.

Наконец, Ася опорожнила весь свой стакан и, шаловливо покачиваясь, возвратилась к нам. Странная усмешка слегка подергивала ее брови, ноздри и губы; полудерзко, полувесело щурились темные глаза.

«Вы находите мое поведение неприличным, – казалось, говорило ее лицо, – все равно: я знаю, вы мной любуетесь».

– Искусно, Ася, искусно, – промолвил Гагин вполголоса.

Она вдруг как будто застыдилась, опустила свои длинные ресницы и скромно подседа к нам, как виноватая. Я тут в первый раз хорошенько рассмотрел ее лицо, самое изменчивое лицо, какое я только видел. Несколько мгновений спустя оно уже все побледнело и приняло сосредоточенное, почти печальное выражение; самые черты ее мне показались больше, строже, проще. Она вся затихла. Мы обошли развалину кругом (Ася шла за нами следом) и полюбовались видами. Между тем час обеда приближался <...>.

Воротясь домой, она тотчас ушла к себе в комнату и появилась только к самому обеду, одетая в лучшее свое платье, тщательно причесанная, перетянутая и в перчатках. За столом она держалась очень чинно, почти чопорно, едва отведывала кушанья и пила воду из рюмки. Ей явно хотелось разыграть передо мною новую роль – роль приличной и благовоспитанной барышни. Гагин не мешал ей: заметно было, что он привык потакать ей во всем. Он только по временам добродушно взглядывал на меня и слегка пожимал плечом, как бы желая сказать: «Она ребенок; будьте снисходительны». Как только кончился обед, Ася встала, сделала нам книксен² и, надевая шляпу, спросила Гагина: можно ли ей пойти к фрау Луизе?

– Давно ли ты стала спрашиваться? – отвечал он с своей неизменной, на этот раз несколько смущенной улыбкой, – разве тебе скучно с нами?

– Нет, но я вчера еще обещала фрау Луизе побывать у ней; притом же я думала, вам будет лучше вдвоем: господин Н. (она указала на меня) что-нибудь еще тебе расскажет.

Она ушла.

<...> Солнце село, и мне уже пора было идти домой. Ася все еще не возвращалась.

– Экая она у меня вольница! – промолвил Гагин. – Хотите, я пойду провожать вас? Мы по пути завернем к фрау Луизе; я спрошу, там ли она? Крюк не велик.

Мы спустились в город и, свернув в узкий, кривой переулочек, остановились перед домом в два окна шириною и вышиною в четыре этажа. Второй этаж выступал на улицу больше первого, третий и четвертый еще больше второго; весь дом со своей ветхой резьбой, двумя толстыми столбами внизу, острой черепичной кровлей и протянутым в виде клюва воротом на чердаке казался огромной, сгорбленной птицей.

– Ася! – крикнул Гагин, – ты здесь?

Освещенное окошко в третьем этаже стукнуло и отворилось, и мы увидели темную головку Аси. Из-за нее выглядывало беззубое и подслеповатое лицо старой немки.

– Я здесь, – проговорила Ася, кокетливо опершись локтями на оконницу, – мне здесь хорошо. На тебе, возьми, – прибавила она, бросая Гагину ветку гераниума, – вообрази, что я дама твоего сердца.

Фрау Луизе засмеялась.

– Н. уходит, – возразил Гагин, – он хочет с тобой проститься.

– Будто? – промолвила Ася, – в таком случае дай ему мою ветку, а я сейчас вернусь.

Она захлопнула окно и, кажется, поцеловала фрау Луизе. Гагин протянул мне молча ветку. Я молча положил ее в карман, дошел до перевоза и перебрался на другую сторону.

<...> Я пришел домой совсем в другом настроении духа, чем накануне. Я чувствовал себя почти рассерженным и долго не мог успокоиться. Непонятная мне самому досада меня разбирала. Наконец, я сел и, вспомнив о своей коварной вдове (официальным воспоминанием об этой даме заключался каждый мой день), достал одну из ее записок. Но я даже не раскрыл ее; мысли мои тотчас приняли иное направление. Я начал думать... думать об Асе. Мне пришло в голову, что Гагин в течение разговора намекнул мне на какие-то затруднения, препятствующие его возвращению в Россию... «Полно, сестра ли она его?» – произнес я громко.

Я разделся, лег и старался заснуть; но час спустя я опять сидел в постели, облокотившись локтем на подушку, и снова думал об этой «капризной девочке с натянутым смехом...». «Она сложена, как маленькая

рафаэлевская Галатея в Фарнезине³, – шептал я, – да; и она ему не сестра...»
А записка вдовы преспокойно лежала на полу, белея в лучах луны.

² *Книксен* – вежливый поклон с приседанием.

³ *Знаменитая фреска «Триумф Галатеи» работы Рафаэля.*

На следующее утро я опять пошел в Л. Я уверял себя, что мне хочется повидаться с Гагиным, но втайне меня тянуло посмотреть, что станет делать Ася, так же ли она будет «чудить», как накануне. Я застал обоих в гостиной, и, странное дело! – оттого ли, что я ночью и утром много размышлял о России, – Ася показалась мне совершенно русской девушкой, да, простою девушкой, чуть не горничной. На ней было старенькое платьице, волосы она зачесала за уши и сидела, не шевелясь, у окна да шила в пальцах, скромно, тихо, точно она век свой ничем другим не занималась. Она почти ничего не говорила, спокойно посматривала на свою работу, и черты ее приняли такое незначительное, будничное выражение, что мне невольно вспомнились наши доморощенные Кати и Маши. Для довершения сходства она принялась напевать вполголоса «Матушку, голубушку». Я глядел на ее желтоватое, угасшее личико, вспоминал о вчерашних мечтаниях, и жаль мне было чего-то. Погода была чудесная. Гагин объявил нам, что пойдет сегодня рисовать этюд с натуры; я спросил его, позволит ли он мне провожать его, не помешаю ли я ему?

– Напротив, – возразил он, – вы мне можете хороший совет дать.

Он надел круглую шляпу, взял картон под мышку и отправился; я поплелся вслед за ним. Ася осталась дома <...>.

Я сам скоро простился с Гагиным и, возвратившись домой, не мечтал уже ни о чем: этот день прошел в трезвых ощущениях. Помнится, однако, ложась спать, я невольно промолвил вслух:

– Что за хамелеон эта девушка! – и, подумав немного, прибавил: – А все-таки она ему не сестра.

Прошли целые две недели. Я каждый день посещал Гагиных. Ася словно избегала меня, но уже не позволяла себе ни одной из тех шалостей, которые так удивили меня в первые два дня нашего знакомства. Она казалась втайне огорченной или смущенной; она и смеялась меньше. Я с любопытством наблюдал за ней.

<...> Однажды вечером, подходя к винограднику, где жили Гагины, я нашел калитку запертою. Недолго думавши, добрался я до одного

обрушенного места в ограде, уже прежде замеченного мною, и перескочил через нее. Недалеко от этого места, в стороне от дорожки, находилась небольшая беседка из акаций; я поравнялся с нею и уже прошел было мимо... вдруг меня поразил голос Аси, с жаром и сквозь слезы произносивший следующие слова:

– Нет, я никого не хочу любить, кроме тебя, нет, нет, одного тебя я хочу любить – и навсегда.

– Полно, Ася, успокойся, – говорил Гагин, – ты знаешь, я тебе верю.

Голоса их раздавались в беседке. Я увидел их обоих сквозь негустой переплет ветвей. Они меня не заметили.

– Тебя, тебя одного, – повторила она, бросилась ему на шею и с судорожными рыданиями начала целовать его и прижиматься к его груди.

– Полно, полно, – твердил он, слегка проводя рукой по ее волосам.

Несколько мгновений остался я неподвижным... Вдруг я встрепенулся. «Подойти к ним?.. Ни за что!» – сверкнуло у меня в голове. Быстрыми шагами вернулся я к ограде, перескочил через нее на дорогу и чуть не бегом пустился домой. Я улыбался, потирал руки, удивлялся случаю, внезапно подтвердившему мои догадки (я ни на одно мгновение не усомнился в их справедливости), а между тем на сердце у меня было очень горько. «Однако, – думал я, – умеют же они притворяться! Но к чему? Что за охота меня морочить? Не ожидал я этого от него... И что за чувствительное объяснение?»

Я спал дурно и на другое утро встал рано, привязал походную котомочку за спину и, объявив своей хозяйке, чтобы она не ждала меня к ночи, отправился пешком в горы, вверх по течению реки, на которой лежит городок З. <...>. Я не отдавал себе отчета в том, что во мне происходило; одно чувство было мне ясно: нежелание видеться с Гагиными. Я уверял себя, что единственной причиной моего внезапного нерасположения к ним была досада на их лукавство. Кто их принуждал выдавать себя за родственников? Впрочем, я старался о них не думать; бродил не спеша по горам и долинам, засиживался в деревенских харчевнях, мирно беседуя с хозяевами и гостями, или ложился на плоский согретый камень и смотрел, как плыли облака, благо погода стояла удивительная. В таких занятиях я провел три дня, и не без удовольствия, – хотя на сердце у меня щемило по временам. Настроение моих мыслей приходилось как раз под стать спокойной природе того края.

Я пришел домой к самому концу третьего дня <...>. Дома я нашел записку от Гагина. Он удивлялся неожиданности моего решения, пенял мне, зачем я не взял его с собою, и просил прийти к ним, как только я вернусь. Я

с неудовольствием прочел эту записку, но на другой же день отправился в Л.

Гагин встретил меня по-приятельски, осыпал меня ласковыми упреками; но Ася, точно нарочно, как только увидела меня, расхохоталась без всякого повода и, по своей привычке, тотчас убежала. Гагин смутился, пробормотал ей вслед, что она сумасшедшая, попросил меня извинить ее. Признаюсь, мне стало очень досадно на Асю; уж и без того мне было не по себе, а тут опять этот неестественный смех, эти странные ужимки. Я, однако, показал вид, будто ничего не заметил, и сообщил Гагину подробности моего небольшого путешествия. Он рассказал мне, что делал в мое отсутствие. Но речи наши не клеились; Ася входила в комнатку и убегала снова; я объявил, наконец, что у меня есть спешная работа и что мне пора вернуться домой. Гагин сперва меня удерживал, потом, посмотрев на меня пристально, вызвался провожать меня. В передней Ася вдруг подошла ко мне и протянула мне руку; я слегка пожал ее пальцы и едва поклонился ей. Мы вместе с Гагиным переправились через Рейн и, проходя мимо любимого моего ясеня со статушкой мадонны, присели на скамью, чтобы полюбоваться видом. Замечательный разговор произошел тут между нами.

Сперва мы перекинулись немногими словами, потом замолкли, глядя на светлую реку.

– Скажите, – начал вдруг Гагин, с своей обычной улыбкой, – какого вы мнения об Асе? Не правда ли, она должна казаться вам немного странной?

– Да, – ответил я не без некоторого недоумения. Я не ожидал, что он заговорит о ней.

– Ее надо хорошенько узнать, чтобы о ней судить, – промолвил он, – у ней сердце очень доброе, но голова бедовая. Трудно с нею ладить. Впрочем, ее нельзя винить, и если б вы знали ее историю...

– Ее историю?.. – перебил я, – разве она не ваша...

Гагин взглянул на меня.

– Уж не думаете ли вы, что она не сестра мне?.. Нет, – продолжал он, не обращая внимания на мое замешательство, – она точно мне сестра, она дочь моего отца. Выслушайте меня. Я чувствую к вам доверие и расскажу вам все.

Отец мой был человек весьма добрый, умный, образованный – и несчастливый. Судьба обошлась с ним не хуже, чем со многими другими; но он и первого удара ее не вынес. Он женился рано, по любви; жена его, моя мать, умерла очень скоро; я остался после нее шести месяцев. Отец увез меня в деревню и целые двенадцать лет не выезжал никуда. Он сам

занимался моим воспитанием и никогда бы со мной не расстался, если бы брат его, мой родной дядя, не заехал к нам в деревню. Дядя этот жил постоянно в Петербурге и занимал довольно важное место. Он уговорил отца отдать меня к нему на руки, так как отец ни за что не соглашался покинуть деревню. Дядя представил ему, что мальчику моих лет вредно жить в совершенном уединении, что с таким вечно унылым и молчаливым наставником, каков был мой отец, я непременно отстану от моих сверстников, да и самый нрав мой легко может испортиться. Отец долго противился увещаниям своего брата, однако уступил, наконец. Я плакал, расставаясь с отцом; я любил его, хотя никогда не видал улыбки на лице его... но, попавши в Петербург, скоро позабыл наше темное и невеселое гнездо. Я поступил в юнкерскую школу, а из школы перешел в гвардейский полк. Каждый год приезжал я в деревню на несколько недель и с каждым годом находил отца моего все более и более грустным, в себя углубленным, задумчивым до робости. Он каждый день ходил в церковь и почти научился говорить. В одно из моих посещений (мне уже было лет двадцать с лишком) я в первый раз увидел у нас в доме худенькую черноглазую девочку лет десяти – Асю. Отец сказал, что она сирота и взята им на прокормление – он именно так выразился. Я не обратил особенного внимания на нее; она была дика, проворна и молчалива, как зверек, и как только я входил в любимую комнату моего отца, огромную и мрачную комнату, где скончалась моя мать и где даже днем зажигались свечи, она тотчас пряталась за вольтеровское кресло его или за шкаф с книгами. Случилось так, что в последовавшие за тем три, четыре года обязанности службы помешали мне побывать в деревне. Я получал от отца ежемесячно по короткому письму; об Асе он упоминал редко, и то вскользь. Ему было уже за пятьдесят лет, но он казался еще молодым человеком. Представьте же мой ужас: вдруг я, ничего не подозревавший, получаю от приказчика письмо, в котором он извещает меня о смертельной болезни моего отца и умоляет приехать как можно скорее, если хочу проститься с ним. Я поскакал сломя голову и застал отца в живых, но уже при последнем издыхании. Он обрадовался мне чрезвычайно, обнял меня своими исхудалыми руками, долго поглядел мне в глаза каким-то не то испытующим, не то умоляющим взором и, взяв с меня слово, что я исполню его последнюю просьбу, велел своему старому камердинеру привести Асю. Старик привел ее: она едва держалась на ногах и дрожала всем телом.

– Вот, – сказал мне с усилием отец, – завещаю тебе мою дочь – твою сестру. Ты все узнаешь от Якова, – прибавил он, указав на камердинера.

Ася зарыдала и упала лицом на кровать... Полчаса спустя мой отец скончался.

Вот что я узнал. Ася была дочь моего отца и бывшей горничной моей

матери, Татьяны. Живо помню я эту Татьяну, помню ее высокую стройную фигуру, ее благообразное, строгое, умное лицо, с большими темными глазами. Она слыла девушкой гордой и неприступной. Сколько я мог понять из почтительных недомолвок Якова, отец мой сошелся с нею несколько лет спустя после смерти матушки. Татьяна уже не жила тогда в господском доме, а в избе у замужней сестры своей, скотницы. Отец мой сильно к ней привязался и после моего отъезда из деревни хотел даже жениться на ней, но она сама не согласилась быть его женой, несмотря на его просьбы.

– Покойница Татьяна Васильевна, – так докладывал мне Яков, стоя у двери с закинутыми назад руками, – во всем были рассудительны и не захотели батюшку вашего обидеть. Что, мол, я вам за жена? какая я барыня? так они говорить изволили, при мне говорили-с.

Татьяна даже не хотела переселиться к нам в дом и продолжала жить у своей сестры, вместе с Асей. В детстве я видывал Татьяну только по праздникам, в церкви. Повязанная темным платком, с желтой шалью на плечах, она становилась в толпе, возле окна, – ее строгий профиль четко вырезывался на прозрачном стекле, – и смиренно и важно молилась, кланяясь низко, по-старинному. Когда дядя увез меня, Асе было всего два года, а на девятом году она лишилась матери. Как только Татьяна умерла, отец взял Асю к себе в дом. Он и прежде изъявил желание иметь ее при себе, но Татьяна ему и в этом отказала. Представьте же себе, что должно было произойти в Асе, когда ее взяли к барину. Она до сих пор не может забыть ту минуту, когда ей в первый раз надели шелковое платье и поцеловали у нее ручку. Мать, пока была жива, держала ее очень строго; у отца она пользовалась совершенной свободой. Он был ее учителем; кроме его, она никого не видала. Он не баловал ее, то есть не нянчился с нею; но он любил ее страстно и никогда ничего ей не запрещал: он в душе считал себя перед ней виноватым. Ася скоро поняла, что она главное лицо в доме, она знала, что барин ее отец; но она так же скоро поняла свое ложное положение; самолюбие развилось в ней сильно, недоверчивость тоже; дурные привычки укоренились, простота исчезла. Она хотела (она сама мне раз призналась в этом) заставить целый мир забыть ее происхождение; она и стыдилась своей матери, и стыдилась своего стыда, и гордилась ею. Вы видите, что она многое знала и знает, чего не должно бы знать в ее годы... Но разве она виновата? Молодые силы разыгрывались в ней, кровь кипела, а вблизи ни одной руки, которая бы ее направила. Полная независимость во всем! да разве легко ее вынести? Она хотела быть не хуже других барышень; она бросилась на книги. Что тут могло выйти путного? Неправильно начатая жизнь слагалась неправильно, но сердце в ней не испортилось, ум уцелел.

И вот я, двадцатилетний малый, очутился с тринадцатилетней

девочкой на руках! В первые дни после смерти отца, при одном звуке моего голоса, ее била лихорадка, ласки мои повергали ее в тоску, и только понемногу, исподволь, привыкла она ко мне. Правда, потом, когда она убедилась, что я точно признаю ее за сестру и полюбил ее, как сестру, она страстно ко мне привязалась: у ней ни одно чувство не бывает вполнину.

Я привез ее в Петербург. Как мне ни больно было с ней расстаться, – жить с ней вместе я никак не мог; я поместил ее в один из лучших пансионов. Ася поняла необходимость нашей разлуки, но начала с того, что заболела и чуть не умерла. Потом она обтерпелась и выжила в пансионе четыре года; но, против моих ожиданий, осталась почти такою же, какою была прежде <...>.

Наконец, ей минуло семнадцать лет; оставаться ей далее в пансионе было невозможно. Я находился в довольно большом затруднении. Вдруг мне пришла благая мысль: выйти в отставку, поехать за границу на год или на два и взять Асю с собою. Задумано – сделано; и вот мы с ней на берегах Рейна, где я стараюсь заниматься живописью, а она... шалит и чудит по-прежнему. Но теперь я надеюсь, что вы не станете судить ее слишком строго; а она хоть и притворяется, что ей все нипочем, – мнением каждого дорожит, вашим же в особенности.

И Гагин опять улыбнулся своей тихой улыбкой. Я крепко стиснул ему руку.

– Все так, – заговорил опять Гагин, – но с нею мне беда. Порох она настоящий. До сих пор ей никто не нравился, но беда, если она кого полюбит! Я иногда не знаю, как с ней быть. На днях она что вздумала: начала вдруг уверять меня, что я к ней стал холоднее прежнего и что она одного меня любит и век будет меня одного любить... И при этом так расплакалась...

– Так вот что... – промолвил было я и прикусил язык. – А скажите-ка мне, – спросил я Гагина: дело между нами пошло на откровенность, – неужели в самом деле ей до сих пор никто не нравился? В Петербурге видала же она молодых людей?

– Они-то ей и не нравились вовсе. Нет, Асе нужен герой, необыкновенный человек – или живописный пастух в горном ущелье. А впрочем, я заболтался с вами, задержал вас, – прибавил он, вставая.

– Послушайте, – начал я, – пойдете к вам, мне домой не хочется.

– А работа ваша?

Я ничего не отвечал; Гагин добродушно усмехнулся, и мы вернулись в Л. Увидев знакомый виноградник и белый домик на верху горы, я почувствовал какую-то сладость – именно сладость на сердце: точно мне втихомолку меду туда налили. Мне стало легко после гагинского рассказа <...>.

Отправляясь на следующий день к Гагиным, я не спрашивал себя, влюблен ли я в Асю, но я много размышлял о ней; ее судьба меня занимала, я радовался неожиданному нашему сближению. Я чувствовал, что только со вчерашнего дня я узнал ее; до тех пор она отворачивалась от меня. И вот, когда она раскрылась, наконец, передо мною, каким пленительным светом озарился ее образ, как он был нов для меня, какие тайный обаяния стыдливо в нем сквозили...

Бодро шел я по знакомой дороге, беспрестанно посматривая на издали белевший домик, я не только о будущем – я о завтрашнем дне не думал; мне было очень хорошо.

Ася покраснела, когда я вошел в комнату; я заметил, что она опять принарядилась, но выражение ее лица не шло к ее наряду: оно было печально. А я пришел таким веселым! Мне показалось даже, что она, по обыкновению своему, собралась было бежать, но сделала усилие над собой – и осталась. Гагин стоял, весь взъерошенный и выпачканный красками, перед натянутым холстом и, широко размахивая по нем кистью, почти свирепо кивнул мне головой, отодвинулся, прищурил глаза и снова накинудся на свою картину. Я не стал мешать ему и подсел к Асе. Медленно обратились ко мне ее темные глаза.

– Вы сегодня не такая, как вчера, – заметил я после тщетных усилий вызвать улыбку на ее губы.

– Нет, не такая, – ответила она неторопливым и глухим голосом. – Но это ничего... Я нехорошо спала, всю ночь думала.

– О чем?

– Ах, я о многом думала. Это у меня привычка с детства: еще с того времени, когда я жила с матушкой...

Она с усилием выговорила это слово и потом еще раз повторила:

– Когда я жила с матушкой... я думала, отчего это никто не может знать, что с ним будет; а иногда и видишь беду – да спастись нельзя; и отчего никогда нельзя сказать всей правды?.. Потом я думала, что я ничего не знаю, что мне надобно учиться. Меня перевоспитать надо, я очень дурно воспитана. Я не умею играть на фортепьяно, не умею рисовать, я даже шью плохо. У меня нет никаких способностей, со мной должно быть очень скучно.

– Вы несправедливы к себе, – возразил я. – Вы много читали, вы образованны, и с вашим умом...

– А я умна? – спросила она с такой наивной любознательностью, что я невольно засмеялся; но она даже не улыбнулась. – Брат, я умна? – спросила она Гагина.

Он ничего не отвечал ей и продолжал трудиться, беспрестанно меняя кисти и высоко поднимая руку.

– Я сама не знаю иногда, что у меня в голове, - продолжала Ася с тем же задумчивым видом. – Я иногда самой себя боюсь, ей-богу. Ах, я хотела бы... Правда ли, что женщинам не следует читать много?

- Много не нужно, но...

- Скажите мне, что я должна читать? скажите, что я должна делать? Я все буду делать, что вы мне скажете, - прибавила она, с невинной доверчивостью обратясь ко мне.

Я не тотчас нашелся, что сказать ей.

- Ведь вам не будет скучно со мной?

- Помилуйте, - начал я.

- Ну, спасибо! - возразила Ася, - а я думала, что вам скучно будет.

И ее маленькая горячая ручка крепко стиснула мою.

- Н.! - вскрикнул в это мгновение Гагин, - не темен ли этот фон?

Я подошел к нему. Ася встала и удалилась <...>.

"Неужели она меня любит?" - спрашивал я себя на другой день, только что проснувшись. Я не хотел заглядывать в самого себя. Я чувствовал, что ее образ, образ "девушки с натянутым смехом", втеснился мне в душу и что мне от него не скоро отделаться. Я пошел в Л. и остался там целый день, но Асю видел только мельком. Ей нездоровилось, у ней голова болела. Она сошла вниз, на минутку, с повязанным лбом, бледная, худенькая, с почти закрытыми глазами; слабо улыбнулась, сказала: "Это пройдет, это ничего, все пройдет, не правда ли?" - и ушла. Мне стало скучно и как-то грустно-пусто; я, однако, долго не хотел уходить и вернулся поздно, не увидав ее более.

Следующее утро прошло в каком-то полусне сознания. Я хотел приняться за работу - не мог; хотел ничего не делать и не думать... и это не удалось. Я бродил по городу; возвращался домой, выходил снова.

- Вы ли господин Н.? - раздался вдруг за мной детский голос. Я оглянулся; передо мною стоял мальчик. - Это вам от фрейлейн, - прибавил он, подавая мне записку.

Я развернул ее - и узнал неправильный и быстрый почерк Аси. "Я непременно должна вас видеть, - писала мне она, - приходите сегодня в четыре часа к каменной часовне на дороге возле развалины. Я сделала сегодня большую неосторожность... Приходите, ради бога, вы все узнаете... Скажите посланному: да".

- Будет ответ? - спросил меня мальчик.

- Скажи, что да, - отвечал я.
Мальчик убежал.

Я пришел к себе в комнату, сел и задумался. Сердце во мне сильно билось. Несколько раз перечел я записку Аси. Я посмотрел на часы: и двенадцати еще не было.

Дверь отворилась - вошел Гагин.

Лицо его было пасмурным. Он схватил меня за руку и крепко пожал ее. Он казался очень взволнованным.

- Что с вами? - спросил я.

Гагин взял стул и сел против меня.

- Четвертого дня, - начал он с принужденной улыбкой и запинаясь, - я удивил вас своим рассказом; сегодня удивлю еще более. С другим я, вероятно, не решился бы... так прямо... Но вы благородный человек, вы мне друг, не так ли? Послушайте: моя сестра, Ася, в вас влюблена.

Я вздрогнул и приподнялся...

- Ваша сестра, говорите вы...

- Да, да, - перебил меня Гагин. - Я вам говорю, она сумасшедшая и меня с ума сведет. Но, к счастью, она не умеет лгать - и доверяет мне. Ах, что за душа у этой девочки... но она себя погубит, непременно.

- Да вы ошибаетесь, - начал я.

- Нет, не ошибаюсь. Вчера, вы знаете, она почти целый день пролежала, ничего не ела, впрочем, не жаловалась... Она никогда не жалуется. Я не беспокоился, хотя к вечеру у нее сделался небольшой жар. Сегодня, в два часа ночи, меня разбудила наша хозяйка: "Ступайте, говорит, к вашей сестре: с ней что-то худо". Я побежал к Асе и нашел ее нераздетою, в лихорадке, в слезах; голова у нее горела, зубы стучали. "Что с тобой? - спросил я, - ты больна?" Она бросилась мне на шею и начала умолять меня увезти ее как можно скорее, если я хочу, чтобы она осталась в живых... Я ничего не понимаю, стараюсь ее успокоить... Рыдания ее усиливаются... и вдруг сквозь эти рыдания услышал я... Ну, словом, я услышал, что она вас любит. Уверяю вас, мы с вами, благоразумные люди, и представить себе не можем, как она глубоко чувствует и с какой невероятной силой высказываются в ней эти чувства; это находит на нее так же неожиданно и так же неотразимо, как гроза. Вы очень милый человек, - продолжал Гагин, - но почему она вас так полюбила, этого я, признаюсь, не понимаю. Она говорит, что привязалась к вам с первого взгляда. Оттого она и плакала на днях, когда уверяла меня, что, кроме меня, никого любить не хочет. Она воображает, что вы ее презираете, что вы, вероятно, знаете, кто она; она спрашивала меня, не рассказал ли я вам ее историю, - я, разумеется, сказал,

что нет; но чуткость ее - просто страшна. Она желает одного: уехать, уехать тотчас. Я просидел с ней до утра; она взяла с меня слово, что нас завтра же здесь не будет, - и тогда только она заснула. Я подумал, подумал и решился - поговорить с вами. По-моему, Ася права: самое лучшее - уехать нам обоим отсюда. И я сегодня же бы увез ее, если б не пришла мне в голову мысль, которая меня остановила. Может быть... как знать? - вам сестра моя нравится? Если так, с какой стати я увезу ее? Я вот и решился, отбросив в сторону всякий стыд... Притом же я сам кое-что заметил... Я решился... узнать от вас... - Бедный Гагин смутился. - Извините меня, пожалуйста, - прибавил он, - я не привык к таким передрыгам.

Я взял его за руку.

- Вы хотите знать, - произнес я твердым голосом, - нравится ли мне ваша сестра? Да, она мне нравится...

Гагин взглянул на меня.

- Но, - проговорил он, запинаясь, - ведь вы не женитесь на ней?

- Как вы хотите, чтобы я отвечал на такой вопрос? Посудите сами, могу ли я теперь...

- Знаю, знаю, - перебил меня Гагин. - Я не имею никакого права требовать от вас ответа, и вопрос мой - верх неприличия... Но что прикажете делать? С огнем шутить нельзя. Вы не знаете Асю; она в состоянии занемочь, убежать, свиданье вам назначить... Другая умела бы все скрыть и выждать - но не она. С нею это в первый раз - вот что беда! Если бы вы видели, как она сегодня рыдала у ног моих, вы бы поняли мои опасения.

Я задумался. Слова Гагина "свиданье вам назначить" кольнули меня в сердце. Мне показалось постыдным не отвечать откровенностью на его честную откровенность.

- Да, - сказал я, наконец, - вы правы. Час тому назад я получил от вашей сестры записку. Вот она.

Гагин взял записку, быстро пробежал ее и уронил руки на колени. Выражение изумления на его лице было очень забавным, но мне было не до смеху.

- Вы, повторяю, благородный человек, - проговорил он, - но что же теперь делать? Как? она сама хочет уехать, и пишет к вам, и упрекает себя в неосторожности... и когда это она успела написать? Чего ж она хочет от вас?

Я успокоил его, и мы принялись толковать хладнокровно по мере возможности о том, что нам следовало предпринять.

Вот что мы остановились, наконец: во избежание беды я должен был идти на свидание и честно объясниться с Асей; Гагин обязался сидеть дома и не подавать вида, что ему известна ее записка; а вечером мы положили сойтись опять.

- Я твердо надеюсь на вас, - сказал Гагин и стиснул мне руку, -

пощадите и ее и меня. А уезжаем мы все-таки завтра, - прибавил он, вставая, - потому что ведь вы на Асе не женитесь.

- Дайте мне сроку до вечера, - возразил я.

- Пожалуй, но вы не женитесь.

Он ушел, а я бросился на диван и закрыл глаза. Голова у меня ходила кругом: слишком много впечатлений в нее нахлынуло разом. Я досадовал на откровенность Гагина, я досадовал на Асю, ее любовь меня и радовала и смущала. Я не мог понять, что заставило ее все высказать брату; неизбежность скорого, почти мгновенного решения терзала меня...

"Жениться на семнадцатилетней девочке, с ее нравом, как это можно!" - сказал я, вставая.

В условленный час я переправился через Рейн, и первое лицо, встретившее меня на противоположном берегу, был тот самый мальчик, который приходил ко мне поутру. Он, по-видимому, ждал меня.

- От фрейлейн, - сказал он шепотом и подал мне другую записку.

Ася извещала меня о перемене места нашего свидания. Я должен был прийти через полтора часа не к часовне, а в дом к фрау Луизе, постучаться внизу и войти в третий этаж <...>.

Не с легким сердцем шел я на это свидание, не предаваться радостям взаимной любви предстояло мне; мне предстояло сдержать данное слово, исполнить трудную обязанность. "С ней шутить нельзя" - эти слова Гагина, как стрелы, впились в мою душу. А еще четвертого дня в этой лодке, не томился ли я жаждой счастья? Оно стало возможным - и я колебался, я отталкивал, я должен был оттолкнуть его прочь... Его внезапность меня смущала. Сама Ася, с ее огненной головой, с ее прошедшим, с ее воспитанием, это привлекательное, но странное существо - признаюсь, она меня пугала. Долго боролись во мне чувства. Назначенный срок приближался. "Я не могу на ней жениться, - решил я, наконец, - она не узнает, что и я полюбил ее" <...>.

В небольшой комнате, куда я вошел, было довольно темно, и я не тотчас увидел Асю. Закутанная в длинную шаль, она сидела на стуле возле окна, отвернув и почти спрятав голову, как испуганная птичка. Она дышала быстро и вся дрожала. Мне стало несказанно жалко ее. Я подошел к ней. Она еще больше отвернула голову...

- Анна Николаевна, - сказал я.

Она вдруг вся выпрямилась, хотела взглянуть на меня - и не могла. Я схватил ее руку, она была холодна и лежала, как мертвая, на моей ладони.

- Я желала... - начала Ася, стараясь улыбнуться, но ее бледные губы не слушались ее, - я хотела... Нет, не могу, - проговорила она и умолкла. Действительно, голос ее прерывался на каждом слове.

Я сел подле нее.

- Анна Николаевна, - повторил я и тоже не мог ничего прибавить.

Настало молчание. Я продолжал держать ее руку и глядел на нее. Она по-прежнему вся сжималась, дышала с трудом и тихонько покусывала нижнюю губу, чтобы не заплакать, чтобы удержать накипавшие слезы... Я глядел на нее; было что-то трогательно-беспомощное в ее робкой неподвижности: точно она от усталости едва добралась до стула и так и упала на него. Сердце во мне растаяло...

- Ася, - сказал я чуть слышно...

- Ваша... - прошептала она чуть слышно.

Уже руки мои скользили вокруг ее стана... Но вдруг воспоминание о Гагине, как молния, меня озарило.

- Что мы делаем!.. - воскликнул я и судорожно отодвинулся назад. - Ваш брат... ведь он все знает... Он знает, что я вижусь с вами.

Ася опустила на стул.

- Да, - продолжал я, вставая и отходя в другой угол комнаты. - Ваш брат все знает... Я должен был ему все сказать.

- Должны? - проговорила она невнятно. Она, видимо, не могла еще прийти в себя и плохо меня понимала.

- Да, да, - повторил я с каким-то ожесточением, - и в этом вы одни виноваты, вы одни. Зачем вы сами выдали вашу тайну? Кто заставлял вас все высказать вашему брату? Он сегодня был сам у меня и передал мне ваш разговор с ним. - Я старался не глядеть на Асю и ходил большими шагами по комнате. - Теперь все пропало, все, все.

Ася поднялась было со стула.

- Оставайтесь, - воскликнул я, - оставайтесь, прошу вас. Вы имеете дело с честным человеком, - да, с честным человеком. Но, ради бога, что взволновало вас? Разве вы заметили во мне какую перемену? А я не мог скрываться перед вашим братом, когда он пришел сегодня ко мне.

"Что я такое говорю?" - думал я про себя, и мысль, что я безнравственный обманщик, что Гагин знает о нашем свидании, что все искажено, обнаружено, - так и звенела у меня в голове.

- Я не звала брата, - слышался испуганный шепот Аси, - он пришел сам.

- Посмотрите же, что вы наделали, - продолжал я. - Теперь вы хотите уехать...

- Да, я должна уехать, - так же тихо проговорила она, - я и попросила вас сюда для того только, чтобы проститься с вами.

- И вы думаете, - возразил я, - мне будет легко с вами расстаться?
- Но зачем же вы сказали брату? - с недоумением повторила Ася.
- Я вам говорю - я не мог поступить иначе. Если бы вы сами не выдали себя...

- Я заперлась в моей комнате, - возразила она простодушно, - я не знала, что у моей хозяйки был другой ключ...

Это невинное извинение, в ее устах, в такую минуту - меня тогда чуть не рассердило... а теперь я без умиления не могу его вспомнить. Бедное, честное, искреннее дитя!

- И вот теперь все кончено! - начал я снова. - Все. Теперь нам должно расстаться. - Я украдкой взглянул на Асю... лицо ее быстро покраснело. Ей, я это чувствовал, и стыдно становилось и страшно. Я сам ходил и говорил как в лихорадке. - Вы не дали развиваться чувству, которое начинало созревать, вы сами разорвали нашу связь, вы не имели ко мне доверия, вы усомнились во мне...

Пока я говорил, Ася все больше и больше наклонялась вперед - и вдруг упала на колени, уронила голову на руки и зарыдала. Я подбежал к ней, пытался поднять ее, но она мне не давалась. Я не выношу женских слез: при виде их я тотчас теряюсь.

- Анна Николаевна, Ася, - твердил я, - пожалуйста, умоляю вас, ради бога, перестаньте... - Я снова взял ее за руку...

Но, к величайшему моему изумлению, она вдруг вскочила - с быстротою молнии бросилась к двери и исчезла...

Когда несколько минут спустя фрау Луизе вошла в комнату - я все еще стоял по самой середине ее, уж точно как громом пораженный. Я не понимал, как могло это свидание так быстро, так глупо кончиться - кончиться, когда я и сотой доли не сказал того, что хотел, что должен был сказать, когда я еще сам не знал, чем оно разрешиться...

- Фрейлейн ушла? - спросила меня фрау Луизе, приподняв свои желтые брови до самой накладки.

Я посмотрел на нее как дурак - и вышел вон.

Я выбрался из города и пустился прямо в поле. Досада, досада бешеная, меня грызла. Я осыпал себя укоризнами. Как я мог не понять причину, которая заставила Асю переменить место нашего свидания, как не оценить, чего ей стоило прийти к этой старухе, как я не удержал ее! Наедине с ней в той глухой, едва освещенной комнате у меня достало силы, достало духа - оттолкнуть ее от себя, даже упрекать ее. А теперь ее образ меня преследовал, я просил у нее прощения; воспоминания об этом бледном

лице, об этих влажных и робких глазах, о развитых волосах, о легком прикосновении ее головы к моей груди - жгли меня. "Ваша..." - слышался мне ее шепот. "Я поступил по совести", - уверял я себя... Неправда! Разве я точно хотел такой развязки? Разве я в состоянии с ней расстаться? Разве я могу лишиться ее? "Безумец! Безумец!" - повторял я с озлоблением...

Между тем ночь наступала. Большими шагами направился я к дому, где жила Ася.

Гагин вышел мне навстречу.

- Видели вы сестру? - закричал он мне еще издали.

- Разве ее нет дома? - спросил я.

- Нет.

- Она не возвращалась?

- Нет. Я виноват, - продолжал Гагин, - не мог утерпеть: против нашего уговора, ходил к часовне; там ее не было; стало быть, она не приходила?

- Она не была у часовни.

- И вы ее не видели?

Я должен был сознаться, что я ее видел.

- Где?

- У фрау Луизе. Я расстался с ней час тому назад, - прибавил я, - я был уверен, что она домой вернулась.

- Подождем, - сказал Гагин.

Мы вошли в дом и сели друг подле друга. Мы молчали. Нам очень неловко было обоим. Мы беспрестанно оглядывались, посматривали на дверь, прислушивались. Наконец, Гагин встал.

- Это ни на что не похоже! - воскликнул он, - у меня сердце не на месте. Она меня уморит, ей-богу... Пойдемте искать ее.

Мы вышли. На дворе уже совсем стемнело.

- О чем же вы с ней говорили? - спросил меня Гагин, надвигая шляпу на глаза.

- Я видел ее всего минут пять, - отвечал я, - я говорил с ней, как было условлено.

- Знаете ли что? - возразил он, - лучше нам разойтись, этак мы скорее на нее наткнуться можем. Во всяком случае приходите сюда через час.

Быстро взбираясь по тропинке виноградника, я увидел свет в комнате Аси... Это меня несколько успокоило.

Я подошел к дому; дверь внизу была заперта, я постучался.

Неосвещенное окошко в нижнем этаже осторожно отворилось, и показалась голова Гагина.

- Нашли? - спросил я его.

- Она вернулась, - ответил он мне шепотом, - она в своей комнате и раздевается. Все в порядке.

- Слава богу! - воскликнул я с несказанным порывом радости, - слава богу! Теперь все прекрасно. Но вы знаете, мы должны еще переговорить.

- В другое время, - возразил он, тихо потянув к себе раму, - в другое время, а теперь прощайте.

- До завтра, - сказал я, - завтра все будет решено.

- Прощайте, - повторил Гагин. Окно затворилось.

Я чуть было не постучал в окно. Я хотел тогда же сказать Гагину, что я прошу руки его сестры. Но такой сватанье в такую пору... "До завтра, - подумал я, - завтра я буду счастлив..."

Завтра я буду счастлив! У счастья нет завтрашнего дня; у него нет и вчерашнего; оно не помнит прошедшего, не думает о будущем; у него есть настоящее - и то не день, а мгновение.

Я не помню, как я дошел до З. Не ноги меня несли, не лодка меня везла: меня поднимали какие-то широкие, сильные крылья. Я прошел мимо куста, где пел соловей, я остановился и долго слушал: мне казалось, он пел мою любовь и мое счастье.

Когда, на другой день утром, я стал подходить к знакомому домику, меня поразило одно обстоятельство: все окна в нем были раскрыты и дверь тоже была раскрыта; какие-то бумажки валялись перед порогом; служанка с метлой показалась за дверью.

Я приблизился к ней...

- Уехали! - брякнула она, прежде чем я успел спросить ее: дома ли Гагин?

- Уехали?... - повторил я. - Как уехали? Куда?

- Уехали сегодня утром, в шесть часов, и не сказали куда. Постойте, ведь вы, кажется, господин Н.?

- Я господин Н.

- К вам есть письмо у хозяйки. - Служанка пошла наверх и вернулась с письмом. - Вот-с, извольте.

- Да не может быть... Как же это так?... - начал было я.

Служанка тупо посмотрела на меня и принялась мести.

Я развернул письмо. Ко мне писал Гагин; от Аси не было ни строчки. Он начал с того, что просил не сердиться на него за внезапный отъезд; он был уверен, что, по зрелом соображении, я одобрю его решение. Он не

находил другого выхода из положения, которое могло сделаться затруднительным и опасным. "Вчера вечером, - писал он, - пока мы оба молча ждали Асю, я убедился окончательно в необходимости разлуки. Есть предрассудки, которые я уважаю; я понимаю, что вам нельзя жениться на Асе. Она мне все сказала; для ее спокойствия я должен был уступить ее повторенным, усиленным просьбам". В конце письма он изъявлял сожаление о том, что наше знакомство так скоро прекратилось, желал мне счастья, дружески жал мне руку и умолял меня не стараться их отыскивать.

"Какие предрассудки? - вскричал я, как будто он мог меня слышать, - что за вздор! Кто дал право похитить ее у меня..." Я схватил себя за голову...

Служанка начал громко кликать хозяйку: ее испуг заставил меня прийти в себя. Одна мысль во мне загорелась: сыскать их, сыскать во что бы то ни стало. Принять этот удар, примириться с такой развязкой было невозможно. Я узнал от хозяйки, что они в шесть часов утра сели на пароход и поплыли вниз по Рейну. Я отправился в контору: там мне сказали, что они взяли билеты до Кельна. Я пошел домой с тем, чтобы тотчас уложиться и поплыть вслед за ними. Мне пришлось идти мимо дома фрау Луизе... Вдруг я слышу: меня кличет кто-то. Я поднял голову и увидел в окне той самой комнаты, где я накануне виделся с Асей, вдову бургомистра. Она улыбалась своей противной улыбкой и звала меня. Я отвернулся и прошел было мимо; но она мне крикнула мне вслед, что у нее есть что-то для меня. Эти слова меня остановили, и я вошел в ее дом. Как передать мои чувства, когда я увидел опять эту комнатку...

- По-настоящему, - начала старуха, показывая мне маленькую записку, - я бы должна была дать вам это только в случае, если бы вы зашли ко мне сами, но вы такой прекрасный молодой человек. Возьмите.

Я взял записку.

На крошечном клочке бумаги стояли следующие слова, торопливо начерченные карандашом:

"Прощайте, мы не увидимся более. Не из гордости я уезжаю - нет, мне нельзя иначе. Вчера, когда я плакала перед вами, если б вы мне сказали одно слово, одно только слово - я бы осталась. Вы его не сказали. Видно, так лучше... Прощайте навсегда!"

Одно слово... О, я безумец! Это слово... я со слезами повторял его накануне, я расточал его на ветер, я твердил его среди пустых полей... но я не сказал его ей, я не сказал ей, что я люблю ее...

В Кельне я напал на след Гагиных; я узнал, что они поехали в Лондон; я пустился вслед за ними; но в Лондоне все мои розыски остались

тщетными. Я долго не хотел смириться, я долго упорствовал, но я должен был отказаться, наконец, от надежды настигнуть их.

И я не увидел их более - я не увидел Аси. Темные слухи доходили до меня о нем, но она навсегда для меня исчезла. Я даже не знаю, жива ли она. Однажды, несколько лет спустя, я мельком увидел за границей, в вагоне железной дороги, женщину, лицо которой живо напомнило мне незабвенные черты... но я, вероятно, был обманут случайным сходством. Ася осталась в моей памяти той самой девочкой, какую я знал ее в лучшую пору своей жизни, какую я ее видел в последний раз, наклоненной на спинку низкого деревянного стула.

Впрочем, я должен сознаться, что я не слишком долго грустил по ней; я даже нашел, что судьба хорошо распорядилась, не соединив меня с Асей; я утешался мыслию, что я, вероятно, не был бы счастлив с такой женой. Я был тогда молод - и будущее, это короткое, быстрое будущее, казалось мне беспредельным. Разве не может повториться то, что было, думал я, и еще лучше, еще прекраснее?.. Я знал других женщин - но чувство, возбужденное во мне Асей, то жгучее, нежное, глубокое чувство, уже не повторилось. Нет! ни одни глаза не заменили мне тех, когда-то с любовью устремленных на меня глаз, ни на чье сердце, припавшее к моей груди, не отвечало мое сердце таким радостным и сладким замиранием! Осужденный на одиночество бессемейного бобыля, доживаю я скучные годы, но я храню, как святыню, ее записочки и высохший цветок гераниума, тот самый цветок, который она некогда бросила мне из окна. Он до сих пор издает слабый запах, а рука, мне давшая его, та рука, которую мне только раз пришлось прижать к губам моим, быть может, давно уже тлеет в могиле... И я сам - что случилось со мною? Что осталось от меня, от тех блаженных и тревожных дней, от тех крылатых надежд и стремлений? Так легкое испарение ничтожной травки переживает все радости и все горести человека - переживает самого человека.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Какова основная тема повести?
2. Какую форму повествования выбирает автор?
3. Чем поразили Гагины Н. Н. при первом знакомстве?
4. Каким образом подтверждается подозрение Н. Н. о том, что Гагин и Ася – не брат и сестра? Какие чувства овладевают героем после этого?
5. Что узнал Н. Н. об Асе из рассказа Гагина? Расскажите историю Аси. Как меняется душевное состояние героя?
6. Что открыл Н. Н. для себя в Асе? Чем она ему нравилась?
7. Когда к герою приходит осознание того, что он любит?
8. Почему не состоялось счастье героев? Почему они разошлись?

9. Озаглавьте каждую часть повести.

10. Расскажите основные события каждой части.

АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ

(1860 — 1904)

Антон Павлович Чехов родился в Таганроге в 1860 году. Он был третьим ребенком в семье. Его дед — крепостной, откупившийся на волю. Отец был мещанин, владевший бакалейной лавкой. У Антона не было беззаботного и жизнерадостного детства. Он не имел возможности ни побегать, ни пошалить. Детей Павел Егорович (отец) жестоко сек — за плохую отметку, за шалость, за забывчивость; сек дома или прямо в лавке.

Дни в родительском доме проходили так:

«Антоша, ученик первого класса, недавно пообедал и сел за приготовление уроков. В комнату входит отец.

— Я сейчас уйду по делу, а ты, Антоша, ступай в лавку и смотри там хорошенько. Уроки выучишь в лавке.

Антоша бросает перо и идет вслед за отцом в лавку».

В младших классах гимназии Антон учился плохо, но когда семья переехала в Москву, он стал получать пятерки по всем предметам.

Дети в семье Чеховых рано становились самостоятельными. С малолетства их помощь в доме, в лавке, в занятиях родителей была уже существенной. Очень рано заработки детей, и прежде всего Антона, стали основой благосостояния семьи.

Антоша помогал маме Евгении Яковлевне по дому: ходил на базар, убирал квартиру, заправлял керосином лампы, носил воду, белил комнаты, сам стирал воротнички для гимназической формы.

Скудная торговля отца не покрывала расходов семьи, он разорился. А Антону Чехову, учившемуся в шестом классе, пришлось зарабатывать деньги частными уроками.

В 1879 году Антон сдал выпускные гимназические экзамены на «отлично» и поступил в Императорский Московский университет, на медицинский факультет.

Он начал писать рассказы, еще будучи студентом-медиком. В эти годы в юмористических журналах появилось множество коротких рассказов и фельетонов, подписанных шутливым псевдонимом «А. Чехонте». Эти лиричные и очень смешные рассказы поражали неистощимой выдумкой, фантазией. Среди них настоящие шедевры, такие, например, как «Хирургия», «Канитель», «Налим», «Пересолил», «Хамелеон», которые

вошли в сборник «Пестрые рассказы». У писателя много рассказов о детях (например, «Ванька», «Спать хочется») и о животных («Каштанка»).

Между тем жилось Чехову в молодости трудно. В журналах платили мало, требовали, чтобы писал быстро, коротко и смешно. Семья Чехова была большой: мать, отец, сестра, младшие братья. Их все время преследовало безденежье. Но жизнелюбие, избыток творческих сил молодого Антона Павловича побеждали все невзгоды.

Кроме рассказов А. П. Чехов писал и пьесы для театра. «Чайка», «Три сестры», «Вишневый сад» не сходят со сцен театров и по сей день.

В 1892 году А. П. Чехов купил имение Мелихово под Москвой. Здесь он вел большую работу в качестве врача и попечителя школы.

Прожил писатель мало — всего 44 года, но его влияние на русскую и мировую литературу огромно.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Где родился А. П. Чехов?
2. Расскажите о семье писателя.
3. Как прошло детство А. П. Чехова?
4. Когда он стал писать юмористические рассказы?
5. Какие произведения А.П. Чехова вы читали? Назовите их.

ХИРУРГИЯ

Земская больница. За отсутствием доктора, уехавшего жениться, больных принимает фельдшер¹ Курятин, толстый человек лет сорока, в поношенной чечунчовой² жакетке и в истрёпанных триковых брюках. На лице выражение чувства долга и приятности. Между указательным и средним пальцами левой руки левой руки — сигара, распространяющая зловоние.

В приемную входит дьячок Вонмигласов, высокий коренастый старик в коричневой рясе и с широким кожаным поясом. Правый глаз с бельмом и полузакрит, на носу бородавка, похожая издали на большую муху. Секунду дьячок³ ищет глазами икону и, не найдя таковой, крестится на бутылку с карболовым раствором, потом вынимает из красного платочка просфору⁴ и с поклоном кладёт её перед фельдшером.

— А-а-а... моё вам! — зевает фельдшер. — С чем пожаловали?

— С воскресным днём вас, Сергей Кузьмич... К вашей милости... Истинно и правдиво в Псалтыри сказано, извините: «Питие мое с плачем растворях». Сел намедни со старухой чай пить и — ни Боже мой, ни

капельки, ни синь-порох, хоть ложись да помирай... Хлебнёшь чуточку — и силы моей нету! А кроме того, что в самом зубе, но и всю эту сторону... Так и ломит, так и ломит! В ухо отдаёт, извините, словно в нём гвоздик или другой какой предмет: так и стреляет, так и стреляет! Согрешихом и беззаконновахом... Студными бо окалях, душу грехми и в лености житие мое иждих... За грехи, Сергей Кузьмич, за грехи! Отец иерей после литургии упрекает: «Косноязычен ты, Ефим, и гугнив стал. Поёшь, и ничего у тебя не разберёшь». А какое, судите, тут пение, ежели рта раскрыть нельзя, всё распухши, извините, и ночь не спавши...

— М-да... Садитесь... Раскройте рот!

Вонмигласов садится и раскрывает рот.

Курятин хмурится, смотрит в рот и среди пожелтевших от времени и табаку зубов усматривает один зуб, украшенный зияющим дуплом.

— Отец диакон велели водку с хреном прикладывать — не помогло. Гликерия Анисимовна, дай Бог им здоровья, дали на руку ниточку носить с Афонской горы да велели теплым молоком зуб полоскать, а я, признаться, ниточку-то надел, а в отношении молока не соблюл: Бога боюсь, пост...

— Предрассудок... (пауза). Вырвать его нужно, Ефим Михеич!

— Вам лучше знать, Сергей Кузьмич. На то вы и обучены, чтоб это дело понимать как оно есть, что вырвать, а что каплями или прочим чем... На то вы, благодетели, и поставлены, дай Бог вам здоровья, чтоб мы за вас денно и ночью, отцы родные... по гроб жизни...

— Пустяки... — скромничает фельдшер, подходя к шкапу и роясь в инструментах. — Хирургия — пустяки... Тут во всём привычка, твёрдость руки... Раз плюнуть... Намедни тоже, вот как и вы, приезжает в больницу помещик Александр Иваныч Египетский... Тоже с зубом... Человек образованный, обо всём расспрашивает, во всё входит, как и что. Руку пожимает, по имени и отчеству... В Петербурге семь лет жил, всех профессоров перенюхал... Долго мы с ним тут... Христом-Богом молит: вырвите вы мне его, Сергей Кузьмич! Отчего же не вырвать? Вырвать можно. Только тут понимать надо, без понятия нельзя... Зубы разные бывают. Один рвёшь щипцами, другой козьей ножкой, третий ключом... Кому как.

Фельдшер берёт козью ножку, минуту смотрит на неё вопросительно, потом кладёт и берёт щипцы.

— Ну-с, раскройте рот пошире... — говорит он, подходя с щипцами к дьячку. — Сейчас мы его... тово... Раз плюнуть... Десну подрезать только... тракцию сделать по вертикальной оси... и всё... (подрезывает десну) и всё...

— Благодетели вы наши... Нам, дуракам, и невдомёк, а вас Господь просветил...

— Не рассуждайте, ежели у вас рот раскрыт... Этот легко рвать, а

бывает так, что одни только корешки... Этот — раз плюнуть... (накладывает щипцы). Пойдите, не дергайтесь... Сидите неподвижно... В мгновение ока... (делает тракцию). Главное, чтоб поглубже взять (тянет)... чтоб коронка не сломалась...

— Отцы наши... Мать Пресвятая... Ввв...

— Не тово... не тово... как его? Не хватайте руками! Пустите руки! (тянет). Сейчас... Вот, вот... Дело-то ведь не лёгкое...

— Отцы... радетели... (кричит). Ангелы! Ого-го... Да дергай же, дергай! Чего пять лет тянешь?

— Дело-то ведь... хирургия... Сразу нельзя... Вот, вот...

Вонмигласов поднимает колени до локтей, шевелит пальцами, выпучивает глаза, прерывисто дышит... На багровом лице его выступает пот, на глазах слёзы. Курятин сопит, топчется перед дьячком и тянет... Проходят мучительнейшие полминуты — и щипцы срываются с зуба. Дьячок вскакивает и лезет пальцами в рот. Во рту нащупывает он зуб на старом месте.

— Тянул! — говорит он плачущим и в то же время насмешливым голосом. — Чтоб тебя так на том свете потянуло! Благодарим покорно! Коли не умеешь рвать, так не берись! Света Божьего не вижу...

— А ты зачем руками хватаешь? — сердится фельдшер. — Я тяну, а ты мне под руку толкаешь и разные глупые слова... Дура!

— Сам ты дура!

— Ты думаешь, мужик, легко зуб-то рвать? Возьмись-ка! Это не то, что на колокольню полез да в колокола отбарабанил! (дразнит). «Не умеешь, не умеешь!» Скажи, какой указчик нашёлся! Ишь ты... Господину Египетскому, Александру Иванычу, рвал, да и тот ничего, никаких слов... Человек почище тебя, а не хватал руками... Садись! Садись, тебе говорю!

— Света не вижу... Дай дух перевести... Ох! (садится). Не тяни только долго, а дергай. Ты не тяни, а дергай... Сразу!

— Учи учёного! Экий, Господи, народ необразованный! Живи вот с такими... очумеешь! Раскрой рот... (накладывает щипцы). Хирургия, брат, не шутка... Это не на клиросе читать... (делает тракцию). Не дергайся... Зуб, выходит, застарелый, глубоко корни пустил... (тянет). Не шевелись... Так... так... Не шевелись... Ну, ну... (слышен хрустящий звук). Так и знал!

Вонмигласов сидит минуту неподвижно, словно без чувств. Он ошеломлён... Глаза его тупо глядят в пространство, на бледном лице пот.

— Было б мне козьей ножкой... — бормочет фельдшер. — Этакая оказия!

Придя в себя, дьячок суёт в рот пальцы и на месте больного зуба находит два торчащих выступа.

— Парршивый чёрт... — выговаривает он. — Насажали вас здесь,

иродов, на нашу погибель!

— Поругайся мне ещё тут... — бормочет фельдшер, кладя в шкаф щипцы. — Невежа... Мало тебя в бурсе берёзой потчевали... Господин Египетский, Александр Иванович, в Петербурге лет семь жил... образованность... один костюм рублей сто стоит... да и то не ругался... А ты что за пава такая? Ништо тебе, не околеешь!

Дьячок берёт со стола свою просфору и, придерживая щеку рукой, уходит восвояси...

¹ **Фельдшер** — помощник врача, человек со средним медицинским образованием.

² **Чечунча́** – шёлк-сырец.

³ **Дьячо́к** — низший чин служителя в православной церкви.

Фамилия «Вонмигласов» происходит от восклицания «Вонмем», повторяющегося во время церковной службы. Такие фамилии давались ученикам в семинариях.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. О какой хирургии рассказывает А. П. Чехов?
2. Как выглядела земская больница? Каковы были пациенты? Какие чувства вызывает чеховский рассказ?
3. Внимательно прочитайте рассказ и подготовьте его к чтению по ролям. Какими предстают фельдшер и больной? Кто из них вызывает больше смеха или сочувствия?
4. Можно ли назвать рассказ юмористическим? На чём основан юмор этого рассказа? Подумайте, какими средствами писатель создаёт юмористическую ситуацию. Вспомним, что **юмор** — *изображение смешного, высмеивание недостатков в человеке и в жизни общества. Почему нам хочется смеяться, но в то же время появляется и грустное чувство? Отчего это происходит?*

ИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА

В русской литературе XX в. четко прослеживается два периода. В ранний период писали М. Горький, В. В. Маяковский, С. А. Есенин; позднее — М. А. Шолохов, А. А. Фадеев, В. П. Катаев и другие писатели и поэты. Их произведения посвящены простым людям России, красоте родного края, героизму народа в годы Великой Отечественной войны, в тяжелые послевоенные годы, а также жизни наших современников.

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ КУПРИН (1870 — 1938)

Родился Александр Иванович Куприн 26 августа (7 сентября) 1870 года в городе Наровчат (Пензенская губерния) в небогатой семье мелкого чиновника.

1871 год был сложным в биографии Куприна – умер отец, и бедствующая семья переехала в Москву.

В шестилетнем возрасте Куприна отдали в класс Московского сиротского училища, из которого он вышел в 1880 году. После этого Александр Иванович учился в военной академии, Александровском военном училище. Время обучения описано в таких сочинениях Куприна, как: «На переломе (Кадеты)», «Юнкера». «Последний дебют» – первая опубликованная повесть Куприна (1889).

С 1890 года был подпоручиком в пехотном полку. Во время службы были изданы многие очерки, рассказы, повести: «Дознание», «Лунной ночью», «Впотьмах».

Спустя четыре года, Куприн вышел в отставку. После этого писатель много путешествует по России, пробует себя в разных профессиях. В это время Александр Иванович познакомился с Иваном Буниным, Антоном Чеховым и Максимом Горьким.

Свои рассказы тех времен Куприн строит на жизненных впечатлениях, почерпнутых во время странствий. Краткие рассказы Куприна охватывают множество тематик: военную, социальную, любовную. Повесть «Поединок» (1905) принесла Александру Ивановичу настоящий успех. Любовь в творчестве Куприна наиболее ярко описана в повести «Олеся» (1898), которая была первым крупным и одним из самых любимых его произведений, и повести о неразделенной любви – «Гранатовый

браслет»(1910).

Александр Куприн также любил писать рассказы для детей. Для детского чтения им были написаны произведения «Слон», «Скворцы», «Белый пудель» и многие другие.

Для Александра Ивановича Куприна жизнь и творчество едины. Не принимая политику военного коммунизма, писатель эмигрирует во Францию. Даже после эмиграции в биографии Александра Куприна писательский пыл не утихает, он пишет повести, рассказы, много статей и эссе. Несмотря на это, Куприн живет в материальной нужде и тоскует по родине. Лишь через 17 лет он возвращается в Россию. Тогда же публикуется последний очерк писателя – произведение «Москва родная».

После тяжелой болезни Куприн умирает 25 августа 1938 года. Писателя похоронили на Волковском кладбище в Ленинграде, рядом с могилой Ивана Тургенева.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Где родился А. И. Куприн?
2. Что больше всего привлекло в биографии А. И. Куприна? Расскажите об этом.
3. Какие рассказы писал А. И. Куприн?

ОЛЕСЯ

(Отрывки в сокращении)

Мой слуга, повар и спутник по охоте — полесóвщик ¹ Ярмола вошел в комнату, согнувшись под вязанкой дров, сбросил ее с грохотом на пол и подышал на замерзшие пальцы.

— У, какой ветер, паныч, на дворе, — сказал он, садясь на корточки перед заслонкой. — Нужно хорошо в гру́бке ² протопить. Позвольте запалочку, паныч.

— Значит, завтра на зайцев не пойдём, а? Как ты думаешь, Ярмола?

— Нет... не можно... слышите, какая завируха. Заяц теперь лежит и — а ни мур-мур... Завтра и одного следа не увидите.

Судьба забросила меня на целых шесть месяцев в глухую деревушку Волынской губернии, на окраину Полесья, и охота была единственным моим занятием и удовольствием <...>.

Но в конце января наступила такая погода, что и охотиться стало невозможно. Каждый день дул страшный ветер, а за ночь на снегу

образовывался твердый, льдистый слой наста, по которому заяц пробежал, не оставляя следов. Сидя взаперти и прислушиваясь к вою ветра, я тосковал страшно. Понятно, я ухватился с жадностью за такое невинное развлечение, как обучение грамоте полесовщика Ярмолы.

Началось это, впрочем, довольно оригинально. Я однажды писал письмо и вдруг почувствовал, что кто-то стоит за моей спиной. Обернувшись, я увидел Ярмолу, подошедшего, как и всегда, беззвучно в своих мягких лаптях.

— Что тебе, Ярмола? — спросил я.

— Да вот дивлюсь, как вы пишете. Вот бы мне так... Нет, нет... не так, как вы, — смущенно заторопился он, видя, что я улыбаюсь. — Мне бы только мое фамилие...

— Зачем это тебе? — удивился я... (Надо заметить, что Ярмола считается самым бедным и самым ленивым мужиком во всем Перебрوده; жалованье и свой крестьянский заработок он пропивает; таких плохих волов, как у него, нет нигде в окрестности. По моему мнению, ему-то уж ни в каком случае не могло понадобиться знание грамоты.) Я еще раз спросил с сомнением: — Для чего же тебе надо уметь писать фамилию?

— А видите, какое дело, паныч, — ответил Ярмола необыкновенно мягко, — ни одного грамотного нет у нас в деревне. Когда бумагу какую нужно подписать, или в волости дело, или что... никто не может... Староста печать только кладет, а сам не знает, что в ней напечатано... То хорошо было бы для всех, если бы кто умел расписаться.

Такая заботливость Ярмолы — заведомого браконьера, беспечного бродяги, с мнением которого никогда даже не подумал бы считаться сельский сход, — такая заботливость его об общественном интересе родного села почему-то растрогала меня. Я сам предложил давать ему уроки. И что же это была за тяжкая работа — все мои попытки выучить его сознательному чтению и письму! Ярмола, знавший в совершенстве каждую тропинку своего леса, чуть ли не каждое дерево, умевший ориентироваться днем и ночью в каком угодно месте, различавший по следам всех окрестных волков, зайцев и лисиц, — этот самый Ярмола никак не мог представить себе, почему, например, буквы «м» и «а» вместе составляют «ма». Обыкновенно над такой задачей он мучительно раздумывал минут десять, а то и больше, причем его смуглое худое лицо с впалыми черными глазами, все ушедшее в жесткую черную бороду и большие усы, выражало крайнюю степень умственного напряжения.

— Ну скажи, Ярмола, — «ма». Просто только скажи — «ма», — приставал я к нему. — Не гляди на бумагу, гляди на меня, вот так. Ну говори — «ма»...

Тогда Ярмола глубоко вздохнул, клал на стол указку и произносил

грустно и решительно:

— Нет... не могу...

— Как же не можешь? Это же ведь так легко. Скажи просто-напросто — «ма», вот как я говорю.

— Нет... не могу, паныч... забыл...

Все методы, приемы и сравнения разбивались об эту чудовищную непонятливость. Но стремление Ярмолы к просвещению вовсе не ослабевало.

— Мне бы только мою фамилию! — застенчиво упрашивал он меня. — Больше ничего не нужно. Только фамилию: Ярмола Попружук — и больше ничего.

Отказавшись окончательно от мысли выучить его разумному чтению и письму, я стал учить его подписываться механически. К моему великому удивлению, этот способ оказался наиболее доступным Ярмоле, так что к концу второго месяца мы уже почти осилили фамилию. Что же касается до имени, то его ввиду облегчения задачи мы решили совсем отбросить.

По вечерам, окончив топку печей, Ярмола с нетерпением дожидался, когда я позову его.

— Ну, Ярмола, давай учиться, — говорил я.

Он боком подходил к столу, облакачивался на него локтями, просовывал между своими черными, закорузлыми, негибающимися пальцами перо и спрашивал меня, подняв кверху брови:

— Писать?

— Пиши.

Ярмола довольно уверенно чертил первую букву — «П» (эта буква у нас носила название: «два стояка и сверху перекладина»); потом он смотрел на меня вопросительно.

— Что ж ты не пишешь? Забыл?

— Забыл... — досадливо качал головой Ярмола.

— Эх, какой ты! Ну, ставь колесо.

— А-а! Колесо, колесо!.. Знаю... — оживлялся Ярмола и старательно рисовал на бумаге вытянутую вверх фигуру, весьма похожую очертаниями на Каспийское море. Окончивши этот труд, он некоторое время молча любовался им, наклоняя голову то на левый, то на правый бок и шуря глаза.

— Что же ты стал? Пиши дальше.

— Подождите немного, панычу... сейчас.

Минуты две он размышлял и потом робко спрашивал:

— Так же, как первая?

— Верно. Пиши.

Так мало-помалу мы добрались до последней буквы — «к» (твердый знак мы отвергли), которая была у нас известна, как «палка, а посередине

палки кривуля хвостом набок».

— А что вы думаете, панычу, — говорил иногда Ярмола, окончив свой труд и глядя на него с любовной гордостью, — если бы мне еще месяцев с пять или шесть поучиться, я бы совсем хорошо знал. Как вы скажете?

¹ *Полесóвщик* – лесной сторож, лесничий.

² *Гру́бка* - печь с лежанкой.

Ярмола сидел на корточках перед заслонкой, перемешивая в печке уголья, а я ходил взад и вперед по диагонали моей комнаты. Из всех двенадцати комнат огромного помещичьего дома я занимал только одну, бывшую диванную. Другие стояли запертыми на ключ, и в них неподвижно и торжественно плесневела старинная штофная мебель, диковинная бронза и портреты XVIII столетия.

Ветер за стенами дома бесился, как старый, озябший голый дьявол. В его реве слышались стоны, визг и дикий смех. Метель к вечеру расходилась еще сильнее. Снаружи кто-то яростно бросал в стекла окон горсти мелкого сухого снега. Недалекий лес роптал и гудел с непрерывной, затаенной, глухой угрозой...

Мне вдруг нестерпимо захотелось нарушить это томительное молчание каким-нибудь подобием человеческого голоса, и я спросил:

— Как ты думаешь, Ярмола, откуда это сегодня такой ветер?

— Ветер? — отозвался Ярмола, лениво подымая голову. — А паныч разве не знает?

— Конечно, не знаю. Откуда же мне знать?

— И вправду не знаете? — оживился вдруг Ярмола. — Это я вам скажу, — продолжал он с таинственным оттенком в голосе, — это я вам скажу: чи ведьмака народилась, чи ведьмак веселье справляет.

— Ведьмака — это колдунья, по-вашему?

— А так, так... колдунья.

Я с жадностью накинулся на Ярмолу. «Почем знать, — думал я, — может быть, сейчас же мне удастся выжать из него какую-нибудь интересную историю, связанную с волшебством, с зарытыми кладками, с вовкулаками?..»

— Ну, а у вас здесь, на Полесье, есть ведьмы? — спросил я.

— Не знаю... Может, есть, — ответил Ярмола с прежним равнодушием и опять нагнулся к печке. — Старые люди говорят, что были когда-то... Может, и неправда...

Я сразу разочаровался. Характерной чертой Ярмолы была упорная

несловоохотность, и я уж не надеялся добиться от него ничего больше об этом интересном предмете. Но, к моему удивлению, он вдруг заговорил с ленивой небрежностью, как будто бы обращаясь не ко мне, а к гудевшей печке:

— Была у нас лет пять тому назад такая ведьма... Только ее хлопцы с села прогнали!

— Куда же они ее прогнали?

— Куда!.. Известно, в лес... Куда же еще? И хату ее сломали, чтобы от того проклятого кубла и щепок не осталось... А саму ее вывели за вышницы и по шее.

— За что же так с ней обошлись?

— Вреда он нее много было: ссорилась со всеми, зелье под хаты подливала, закрутки вязала в жите... Один раз просила она у нашей молодежи злот (пятнадцать копеек). Та ей говорит: «Нет у меня злота, отстань». — «Ну, добре, говорит, будешь ты помнить, как мне злота не дала...» И что же вы думаете, панычу: с тех самых пор стало у молодежи дитя болеть. Болело, болело, да и совсем умерло. Вот тогда хлопцы ведьмаку и прогнали, пусть ей очи повылазят...

— Ну, а где же теперь эта ведьмака? — продолжал я любопытствовать.

— Ведьмака? — медленно переспросил, по своему обыкновению, Ярмола. — А я знаю?

— Разве у нее не осталось в деревне какой-нибудь родни?

— Нет, не осталось. Да она чужая была, из кацапок чи из цыганов... Я еще маленьким хлопцем был, когда она пришла к нам на село. И девочка с ней была: дочка или внучка... Обоих прогнали...

— А теперь к ней разве никто не ходит: погадать там или зелья какого-нибудь попросить?

— Бабы бегают, — пренебрежительно уронил Ярмола.

— Ага! Значит, все-таки известно, где она живет?

— Я не знаю... Говорят люди, что где-то около Бисова Кута она живет... Знаете — болото, что за Ириновским шляхом. Так вот в этом болоте она и сидит, трясьца ее матери!

«Ведьма живет в каких-нибудь десяти верстах от моего дома... настоящая, живая, полесская ведьма!» Эта мысль сразу заинтересовала и взволновала меня.

— Послушай, Ярмола, — обратился я к полесовщику, — а как бы мне с ней познакомиться, с этой ведьмой?

— Тьфу! — сплюнул с негодованием Ярмола. — Вот еще добро нашли.

— Добро или недобро, а я к ней все равно пойду. Как только немного

потеплеет, сейчас же и отправлюсь. Ты меня, конечно, проводишь?

Ярмолу так поразили последние слова, что он даже вскочил с полу.

— Я?! — воскликнул он с негодованием. — А и ни за что! Пусть оно там бог ведает что, а я не пойду.

— Ну вот, глупости, пойдешь.

— Нет, панычу, не пойду... ни за что не пойду... Чтобы я?! — опять воскликнул он, охваченный новым наплывом возмущения. — Чтобы я пошел до ведьмачьего кубла? Да пусть меня бог боронит. И вам не советую, паныч.

— Как хочешь... а я все-таки пойду. Мне очень любопытно на нее посмотреть.

— Ничего там нет любопытного, — пробурчал Ярмола, с сердцем захлопывая печную дверку.

Час спустя, когда он, уже убрав самовар и напившись в темных сенях чаю, собирался идти домой, я спросил:

— Как зовут эту ведьму?

— Мануйлиха, — ответил Ярмола с грубой мрачностью.

Он хотя и не высказывал никогда своих чувств, но, кажется, сильно ко мне привязался; привязался за нашу общую страсть к охоте, за мое простое обращение, за помощь, которую я изредка оказывал его вечно голодающей семье, а главным образом за то, что я один на всем свете не корил его пьянством, чего Ярмола терпеть не мог. Поэтому моя решимость познакомиться с ведьмой привела его в отвратительное настроение духа, которое он выразил только усиленным сопением да еще тем, что, выйдя на крыльцо, из всей силы ударил ногой в бок свою собаку — Рябчика. Рябчик отчаянно завизжал и отскочил в сторону, но тотчас же побежал вслед за Ярмолой, не переставая скулить.

Дня через три потеплело. Однажды утром, очень рано, Ярмола вошел в мою комнату и заявил небрежно:

— Нужно ружья почистить, паныч.

— А что? — спросил я, потягиваясь под одеялом.

— Заяц ночью сильно походил: следов много. Может, пойдём на пановку?

Я видел, что Ярмоле не терпится скорее пойти в лес, но он скрывает это страстное желание охотника под напускным равнодушием. Действительно, в передней уже стояла его одностволка, от которой не ушел еще ни один бекас, несмотря на то, что вблизи дула она была украшена несколькими оловянными заплатами, наложенными в тех местах, где ржавчина и пороховые газы проели железо.

Едва войдя в лес, мы тотчас же попали на заячий след: две лапки рядом и две позади, одна за другой. Заяц вышел на дорогу, прошел по ней сажен двести и сделал с дороги огромный прыжок в сосновый молодняк.

— Ну, теперь будем обходить его, — сказал Ярмола. — Как дал столба, так тут сейчас и ляжет. Вы, паныч, идите... — Он задумался, соображая по каким-то ему одному известным приметам, куда меня направить... — Вы идите до старой корчмы. А я его обойду от Замлына. Как только собака его выгонит, я буду гукать вам.

И он тотчас же скрылся, точно нырнул в густую чащу мелкого кустарника. Я прислушался. Ни один звук не выдал его браконьерской походки, ни одна веточка не треснула под его ногами, обутыми в лыковые постолы³ <...>.

Я пошел по направлению Ириновского шляха и уже через минуты две услышал, что собака опять гонит где-то недалеко от меня. Охваченный охотничьим волнением, я побежал, держа ружье наперевес, сквозь густой кустарник, ломая ветви и не обращая внимания на их жестокие удары. Я бежал так довольно долго и уже стал задыхаться, как вдруг лай собаки прекратился. Я пошел тише. Мне казалось, что если я буду идти все прямо, то непременно встречу с Ярмолой на Ириновском шляху. Но вскоре я убедился, что во время моего бега, огибая кусты и пни и совсем не думая о дороге, я заблудился. Тогда я начал кричать Ярмоле. Он не откликнулся.

Кустарник скоро совсем окончился. Передо мной было большое круглое болото, занесенное снегом, из-под белой пелены которого торчали редкие кочки. На противоположном конце болота, между деревьями, выглядывали белые стены какой-то хаты. «Вероятно, здесь живет ириновский лесник, — подумал я. — Надо зайти и расспросить у него дорогу».

Но дойти до хаты было не так-то легко. Каждую минуту я увязал в трясине. Сапоги мои набрали воды и при каждом шаге громко хлюпали; становилось невмочь тянуть их за собою.

Наконец я перебрался через это болото, взобрался на маленький пригорок и теперь мог хорошо рассмотреть хату. Это даже была не хата, а именно сказочная избушка на курьих ножках. Она не касалась полом земли, а была построена на сваях, вероятно ввиду половодья, затопляющего весной весь Ириновский лес. Но одна сторона ее от времени осела, и это придавало избушке хромой и печальный вид. В окнах недоставало нескольких стекол; их заменяли какие-то грязные ветошки, выпиравшиеся горбом наружу.

³ *Постолы* - грубая обувь из целого куска кожи, стянутого сверху ремешком.

Я нажал на клямку ⁴ и отворил дверь. В хате было очень темно, а у меня, после того как я долго глядел на снег, ходили перед глазами фиолетовые круги; поэтому я долго не мог разобраться, есть ли кто-нибудь в хате.

— Эй, добрые люди, кто из вас дома? — спросил я громко.

Около печки что-то завозилось. Я подошел поближе и увидел старуху, сидевшую на полу. Перед ней лежала огромная куча куриных перьев. Старуха брала отдельно каждое перо, сдирала с него бородку и клала пух в корзину, а стержни бросала прямо на землю.

«Да ведь это — Мануйлиха, ириновская ведьма», — мелькнуло у меня в голове, едва я только повнимательнее взгляделся в старуху. Все черты бабы-яги, как ее изображает народный эпос, были налицо: худые щеки, втянутые внутрь, переходили внизу в острый, длинный, дряблый подбородок, почти соприкасавшийся с висящим вниз носом; провалившийся беззубый рот беспрестанно двигался, точно пережевывая что-то; выцветшие, когда-то голубые глаза, холодные, круглые, выпуклые, с очень короткими красными веками, глядели, точно глаза невиданной зловещей птицы.

— Здравствуй, бабка! — сказал я как можно приветливее. — Тебя уж не Мануйлихой ли зовут?

В ответ что-то заклокотало и захрипело в груди у старухи; потом из ее беззубого, шамкающего рта вырвались странные звуки, то похожие на задыхающееся карканье старой вороны, то вдруг переходившие в сиплую обрывающуюся фистулу:

— Прежде, может, и Мануйлихой звали добрые люди... А теперь зовут зовуткой, а величают уткой. Тебе что надо-то? — спросила она недружелюбно и не прекращая своего однообразного занятия.

— Да вот, бабушка, заблудился я. Может, у тебя молоко найдется?

— Нет молока, — сердито отрезала старуха. — Много вас по лесу ходит... Всех не напоишь, не накормишь...

— Ну, бабушка, неласковая же ты до гостей.

— И верно, батюшка: совсем неласковая. Разносолов для вас не держим. Устал — посиди, никто тебя из хаты не гонит. Знаешь, как в пословице говорится: «Приходите к нам на завалинке посидеть, у нашего праздника звона послушать, а обедать к вам мы и сами догадаемся». Так-то вот...

⁴*Клямка* - дверная щеколда, устройство для поднятия дверной защелки.

Эти обороты речи сразу убедили меня, что старуха действительно пришла в этом крае; здесь не любят и не понимают хлесткой, уснащенной редкими словцами речи, которой так охотно щеголяет краснобай-северянин. Между тем старуха, продолжая механически свою работу, все еще бормотала что-то себе под нос, но все тише и невнятнее. Я разобрал только отдельные слова, не имевшие между собой никакой связи: «Вот тебе и бабушка Мануйлиха... А кто такой — неведомо... Лета-то мои не маленькие... Ногами егозит, стрекочит, сокочит — чистая сорока...»

Я некоторое время молча прислушивался, и внезапная мысль, что передо мною — сумасшедшая женщина, вызвала у меня ощущение брезгливого страха.

Однако я успел осмотреться вокруг себя, Большую часть избы занимала огромная облупившаяся печка. Образов в переднем углу не было. По стенам, вместо обычных охотников с зелеными усами и фиолетовыми собаками и портретов никому не ведомых генералов, висели пучки засушенных трав, связки сморщенных корешков и кухонная посуда. Ни совы, ни черного кота я не заметил, но зато с печки два рябых солидных скворца глядели на меня с удивленным и недоверчивым видом.

— Бабушка, а воды-то у вас можно напиться? — спросил я, возвышая голос.

— А вон, в кадке, — кивнула головой старуха.

Вода отзывалась болотной ржавчиной. Поблагодарив старуху (на что она не обратила ни малейшего внимания), я спросил ее, как мне выйти на шлях.

Она вдруг подняла голову, поглядела на меня пристально своими холодными птичьими глазами и забормотала торопливо:

— Иди, иди... Иди, молодец, своей дорогой. Нечего тут тебе делать. Хорош гость в гостинку... Ступай, батюшка, ступай...

Мне действительно ничего больше не оставалось, как уйти. Но вдруг мне пришло в голову попытать последнее средство, чтобы хоть немного смягчить суровую старуху. Я вынул из кармана новый серебряный четвертак и протянул его Мануйлихе. Я не ошибся: при виде денег старуха зашевелилась, глаза ее раскрылись еще больше, и она потянулась за монетой своими скрюченными, узловатыми, дрожащими пальцами.

— Э, нет, бабка Мануйлиха, даром не дам, — поддразнил я ее, пряча монету. — Ну-ка, погадай мне.

Коричневое сморщенное лицо колдуньи собралось в недовольную гримасу. Она, по-видимому, колебалась и нерешительно глядела на мой кулак, где были зажаты деньги. Но жадность взяла верх.

— Ну, ну, пойдем, что ли, пойдем, — прошамкала она, с трудом подымаясь с полу. — Никому я не ворожу теперь, касатик... Забыла... Стара

стала, глаза не видят. Только для тебя разве.

Держась за стену, сотрясаясь на каждом шагу сгорбленным телом, она подошла к столу, достала колоду бурых, распухших от времени карт, стасовала их и придвинула ко мне.

— Сыми-ка... Лево́й ручко́й сыми... От сердца...

Поплевав на пальцы, она начала раскладывать кабалу. Карты падали на стол с таким звуком, как будто бы они были сваяны из теста, и укладывались в правильную восьмиконечную звезду. Когда последняя карта легла рубашкой вверх на короля, Мануйлиха протянула ко мне руку.

— Позолоти, барин хороший... Счастлив будешь, богат будешь... — запела она попрошайническим, чисто цыганским тоном.

Я сунул ей приготовленную монету. Старуха проворно, по-обезьяньи, спрятала ее за щеку.

— Большой интерес тебе выходит через дальнюю дорогу, — начала она привычной скороговоркой. — Встреча с бубновой дамой и какой-то приятный разговор в важном доме. Вскорости получишь неожиданное известие от трефового короля. Падают тебе какие-то хлопоты, а потом опять падают какие-то небольшие деньги. Будешь в большой компании, пьян будешь... Не так, чтобы очень сильно, а все-таки выходит тебе выпивка. Жизнь твоя будет долгая. Если в шестьдесят семь лет не умрешь, то...

Вдруг она остановилась, подняла голову, точно к чему-то прислушиваясь. Я тоже насторожился. Чей-то женский голос, свежий, звонкий и сильный, пел, приближаясь к хате <...>.

— Ну иди, иди теперь, соколик, — тревожно засуетилась старуха, отстраняя меня рукой от стола. — Нечего тебе по чужим хатам околачиваться. Иди, куда шел...

Она даже ухватила меня за рукав моей куртки и тянула к двери. Лицо ее выражало какое-то звериное беспокойство.

Голос, певший песню, вдруг оборвался совсем близко около хаты, громко звякнула железная клямка, и в просвете быстро распахнувшейся двери показалась рослая смеющаяся девушка. Обеими руками она бережно поддерживала полосатый передник, из которого выглядывали три крошечных птичьих головки с красными шейками и черными блестящими глазенками.

— Смотри, бабушка, зяблики опять за мною увязались, — воскликнула она, громко смеясь, — посмотри, какие смешные... Голодные совсем. А у меня, как нарочно, хлеба с собой не было.

Но, увидев меня, она вдруг замолчала и вспыхнула густым румянцем. Ее тонкие черные брови недовольно сдвинулись, а глаза с вопросом обратились на старуху.

— Вот барин зашел... Пытает дорогу, — пояснила старуха. — Ну,

бабушка, — с решительным видом обернулась она ко мне, — будет тебе прохладиться. Напился водицы, поговорил, да пора и честь знать. Мы тебе не компания...

— Послушай, красавица, — сказал я девушке. — Покажи мне, пожалуйста, дорогу на Ириновский шлях, а то из вашего болота во веки веков не выберешься.

Должно быть, на нее подействовал мягкий, просительный тон, который я придавал этим словам. Она бережно посадила на печку, рядом со скворцами, своих зябликов, бросила на лавку скинутую уже короткую свитку и молча вышла из хаты.

Я последовал за ней.

— Это у тебя все ручные птицы? — спросил я, догоняя девушку.

— Ручные, — ответила она отрывисто и даже не взглянув на меня. — Ну вот, глядите, — сказала она, останавливаясь у плетня. — Видите тропочку, вон, вон, между соснами-то? Видите?

— Вижу...

— Идите по ней все прямо. Как дойдете до дубовой колоды, повернете налево. Так прямо, все лесом, лесом и идите. Тут сейчас вам и будет Ириновский шлях.

В то время когда она вытянутой правой рукой показывала мне направление дороги, я невольно залюбовался ею. В ней не было ничего похожего на местных «дівчат», лица которых под уродливыми повязками, прикрывающими сверху лоб, а снизу рот и подбородок, носят такое однообразное, испуганное выражение. Моя незнакомка, высокая брюнетка лет около двадцати — двадцати пяти, держалась легко и стройно. Оригинальную красоту ее лица, раз его увидев, нельзя было позабыть, но трудно было, даже привыкнув к нему, его описать. Прелесть его заключалась в этих больших, блестящих, темных глазах, которым тонкие, надломленные посредине брови придавали неуловимый оттенок лукавства, властности и наивности; в смугло-розовом тоне кожи, в своевольном изгибе губ, из которых нижняя, несколько более полная, выдавалась вперед с решительным и капризным видом.

— Неужели вы не боитесь жить одни в такой глуши? — спросил я, остановившись у забора.

Она равнодушно пожала плечами.

— Чего же нам бояться? Волки сюда не заходят.

— Да разве волки одни... Снегом вас занести может, пожар может случиться... И мало ли что еще. Вы здесь одни, вам и помочь никто не успеет.

— И слава богу! — махнула она пренебрежительно рукой. — Как бы нас с бабушкой вовсе в покое оставили, так лучше бы было, а то...

— А то что?

— Много будете знать, скоро состаритесь, — отрезала она. — Да вы сами-то кто будете? — спросила она тревожно.

Я догадался, что, вероятно, и старуха и эта красавица боятся каких-нибудь утеснений со стороны «предержащих», и поспешил ее успокоить.

— О! Ты, пожалуйста, не тревожься. Я ни урядник, ни писарь, ни акцизный, словом — я никакое начальство.

— Нет, вы правду говорите?

— Даю тебе честное слово. Ей-богу, я самый посторонний человек. Просто, приехал сюда погостить на несколько месяцев, а там и уеду. Если хочешь, я даже никому не скажу, что был здесь и видел вас. Ты мне веришь?

Лицо девушки немного прояснилось.

— Ну, значит, коль не врете, так правду говорите. А вы как: раньше об нас слышали или сами зашли?

— Да я и сам не знаю, как тебе сказать... Слышать-то я слышал, положим, и даже хотел когда-нибудь забрести к вам, а сегодня зашел случайно — заблудился... Ну, а теперь скажи, чего вы людей боитесь? Что они вам злого делают?

Она поглядела на меня с испытующим недоверием. Но совесть у меня была чиста, и я, не сморгнув, выдержал этот пристальный взгляд. Тогда она заговорила с возрастающим волнением:

— Плохо нам от них приходится... Простые люди еще ничего, а вот начальство... Приедет урядник — тащит, приедет становой — тащит. Да еще прежде, чем взять-то, над бабкой надругается: ты, говорят, ведьма, чертовка, каторжница... Эх! Да что и говорить!

— А тебя не трогают? — сорвался у меня неосторожный вопрос.

Она с надменной самоуверенностью повела головой снизу вверх, и в ее сузившихся глазах мелькнуло злое торжество...

— Не трогают... Один раз сунулся ко мне землемер какой-то... Поласкаться ему, видишь, захотелось... Так, должно быть, и до сих пор не забыл, как я его приласкала.

В этих насмешливых, но своеобразно гордых словах прозвучало столько грубой независимости, что я невольно подумал: «Однако недаром ты выросла среди полесского бора, — с тобой и впрямь опасно шутить».

— А мы разве трогаем кого-нибудь! — продолжала она, проникаясь ко мне все большим доверием. — Нам и людей не надо. Раз в год только схожу я в местечко купить мыла да соли... Да вот еще бабушке чаю, — чай она у меня любит. А то хоть бы и вовсе никого не видеть.

— Ну, я вижу, вы с бабушкой людей не жалуете... А мне можно когда-нибудь зайти на минуточку?

Она засмеялась, и — как странно, как неожиданно изменилось ее

красивое лицо! Прежней суровости в нем и следа не осталось: оно вдруг сделалось светлым, застенчивым, детским.

— Да что у нас вам делать? Мы с бабкой скучные... Что ж, заходите, пожалуй, коли вы и впрямь добрый человек. Только вот что... вы уж если когда к нам забредете, так без ружья лучше...

— Ты боишься?

— Чего мне бояться? Ничего я не боюсь, — и в ее голосе опять послышалась уверенность в своей силе. — А только не люблю я этого. Зачем бить пташек или вот зайцев тоже. Никому они худого не делают, а жить им хочется так же, как и нам с вами. Я их люблю: они маленькие, глупые такие... Ну, однако, до свидания, — заторопилась она, — не знаю, как величать-то вас по имени... Боюсь, бабка браниться станет.

И она легко и быстро побежала в хату, наклонив вниз голову и придерживая руками разбившиеся от ветра волосы.

— Пстой, пстой! — крикнул я. — Как тебя зовут-то? Уж будем знакомы как следует.

Она остановилась на мгновение и обернулась ко мне.

— Аленой меня зовут... По-здешнему — Олесья.

Я вскинул ружье на плечи и пошел по указанному мне направлению. Поднявшись на небольшой холмик, откуда начиналась узкая, едва заметная лесная тропинка, я оглянулся. Красная юбка Олеси, слегка колеблемая ветром, еще виднелась на крыльце хаты, выделяясь ярким пятном на ослепительно белом, ровном фоне снега.

Через час после меня пришел домой Ярмола. По своей обычной неохоте к праздному разговору, он ни слова не спросил меня о том, как и где я заблудился. Он только сказал как будто бы вскользь:

— Там... я зайца на кухню занес... жарить будем или пошлете кому-нибудь?

— А ведь ты не знаешь, Ярмола, где я был сегодня? — сказал я, заранее представляя себе удивление полесовщика.

— Отчего же мне не знать? — грубо проворчал Ярмола. — Известно, к ведьмакам ходили...

— Как же ты узнал это?

— А почему же мне не узнать? Слышу, что вы голоса не подаете, ну я и вернулся на ваш след... Эх, паны-ыч! — прибавил он с укоризненной досадой. — Не следует вам такими делами заниматься... Грех!..

Весна наступила в этом году ранняя, дружная и — как всегда на Полесье — неожиданная. Побежали по деревенским улицам бурливые,

коричневые, сверкающие ручейки, сердито пенясь вокруг встречных камней и быстро вертя щепки и гусиный пух; в огромных лужах воды отразилось голубое небо с плывущими по нему круглыми, точно крутящимися, белыми облаками; с крыш посыпались частые звонкие капли. Воробьи, стаями обсыпавшие придорожные ветлы, кричали так громко и возбужденно, что ничего нельзя было слышать за их криком. Везде чувствовалась радостная, торопливая тревога жизни <...>.

В эти весенние дни образ Олеси не выходил из моей головы. Мне нравилось, оставшись одному, лечь, зажмурить глаза, чтобы лучше сосредоточиться, и беспрестанно вызывать в своем воображении ее то суровое, то лукавое, то сияющее нежной улыбкой лицо, ее молодое тело, выросшее в приволье старого бора так же стройно и так же могуче, как растут молодые елочки, ее свежий голос, с неожиданными низкими бархатными нотками... «Во всех ее движениях, в ее словах, — думал я, — есть что-то благородное (конечно, в лучшем смысле этого довольно пошлого слова), какая-то врожденная изящная умеренность...» Также привлекал меня к Олесе и некоторый ореол окружавшей ее таинственности, суеверная репутация ведьмы, жизнь в лесной чаще среди болота и в особенности — эта гордая уверенность в своих силах, сквозившая в немногих обращенных ко мне словах.

Нет ничего мудреного, что, как только немного просохли лесные тропинки, я отправился в избушку на курьих ножках. На случай, если бы понадобилось успокоить ворчливую старуху, я захватил с собою полфунта чаю и несколько пригоршен кусков сахару.

Я застал обеих женщин дома. Старуха возилась около ярко пылавшей печи, а Олеся пряла лен, сидя на очень высокой скамейке; когда я, входя, стукнул дверью, она обернулась, нитка оборвалась под ее руками, и веретено покатило по полу.

Старуха некоторое время внимательно и сердито вглядывалась в меня, сморщившись и заслоняя лицо ладонью от жара печки.

— Здравствуй, бабуся! — сказал я громким, бодрым голосом. — Не узнаешь, должно быть, меня? Помнишь, я в прошлом месяце заходил по дороге спрашивать? Ты мне еще гадала?

— Ничего не помню, батюшка, — зашамкала старуха, недовольно трясая головой, — ничего не помню. И что ты у нас позабыл, — никак не пойму. Что мы тебе за компания? Мы люди простые, серые... Нечего тебе у нас делать. Лес велик, есть место, где разойтись... так-то...

Ошеломленный нелюбезным приемом, я совсем потерялся и очутился в том глупом положении, когда не знаешь, что делать: обратить ли грубость в шутку, или самому рассердиться, или, наконец, не сказав ни слова, повернуться и уйти назад. Невольно я повернулся с беспомощным

выражением к Олесе. Она чуть-чуть улыбнулась с оттенком незлой насмешки, встала из-за прялки и подошла к старухе.

— Не бойся, бабка, — сказала она примирительно, — это не лихой человек, он нам худого не сделает. Милости просим садиться, — прибавила она, указывая мне на лавку в переднем углу и не обращая более внимания на воркотню старухи.

Ободренный ее вниманием, я догадался выдвинуть самое решительное средство.

— Какая же ты сердитая, бабуся... Чуть гости на порог, а ты сейчас и бранишься. А я было тебе гостинцу принес, — сказал я, доставая из сумки свои свертки.

Старуха бросила быстрый взгляд на свертки, но тотчас же отвернулась к печке.

— Никаких мне твоих гостинцев не нужно, — проворчала она, ожесточенно разгребая кочергой уголья. — Знаем мы тоже гостей этих. Сперва без мыла в душу лезут, а потом... Что у тебя в кулечке-то? — вдруг обернулась она ко мне.

Я тотчас же вручил ей чай и сахар. Это подействовало на старуху смягчающим образом, и хотя она и продолжала ворчать, но уже не в прежнем, непримиримом тоне.

Олеся села опять за пряжу, а я поместился около нее на низкой, короткой и очень шаткой скамеечке.левой рукой Олеся быстро сучила белую, мягкую, как шелк, кудель, а в правой у нее с легким жужжанием крутилось веретено, которое она то пускала падать почти до земли, то ловко подхватывала его и коротким движением пальцев опять заставляла вертеться. Эта работа, такая простая на первый взгляд, но в сущности требующая огромного, многовекового навыка и ловкости, так и кипела в ее руках. Невольно я обратил внимание на эти руки: они загубели и почернели от работы, но были невелики и такой красивой формы, что им позавидовали бы многие благовоспитанные девицы.

— А вот вы мне тогда и не сказали, что вам бабка гадала, — произнесла Олеся. И, видя, что я опасливо обернулся назад, она прибавила: — Ничего, ничего, она немного на ухо туга, не услышит. Она только мой голос хорошо разбирает.

— Да, гадала. А что?

— Да так себе... Просто спрашиваю... А вы верите? — кинула она на меня украдкой быстрый взгляд.

— Чему? Тому, что твоя бабка мне гадала, или вообще?

— Нет, вообще...

— Как сказать, вернее будет, что не верю, а все-таки почему знать? Говорят, бывают случаи... Даже в умных книгах об них напечатано. А вот

тому, что твоя бабка говорила, так совсем не верю. Так и любая баба деревенская сумеет поворожить.

Олеся улыbnулась.

— Да, это правда, что она теперь плохо гадает. Стара стала, да и боится она очень. А что вам карты сказали?

— Ничего интересного не было. Я теперь и не помню. Что обыкновенно говорят: дальняя дорога, трэфовый интерес... Я и позабыл даже.

— Да, да, плохая она стала ворожка. Слова многие позабыла от старости... Куда ж ей? Да и опасается она. Разве только деньги увидит, так согласится.

— Чего же она боится?

— Известно чего, — начальства боится... Урядник приедет, так всегда грозит: «Я, говорит, тебя во всякое время могу упрятать. Ты знаешь, говорит, что вашему брату за чародейство полагается? Ссылка в каторжную работу, без срока, на Соколиный остров». Как вы думаете, врет он это или нет?

— Нет, врать он не врет; действительно за это что-то полагается, но уже не так страшно... Ну, а ты, Олеся, умеешь гадать?

Она как будто бы немного замялась, но всего лишь на мгновение.

— Гадаю... Только не за деньги, — добавила она поспешно.

— Может быть, ты и мне кинешь карты?

— Нет, — тихо, но решительно ответила она, покачав головой.

— Почему же ты не хочешь? Ну, не теперь, так когда-нибудь после... Мне почему-то кажется, что ты мне правду скажешь.

— Нет. Не стану. Ни за что не стану.

— Ну, уж это нехорошо, Олеся. Ради первого знакомства нельзя отказывать... Почему ты не согласна?

— Потому, что я на вас уже бросала карты, в другой раз нельзя...

— Нельзя? Отчего же? Я этого не понимаю.

— Нет, нет, нельзя... нельзя... — зашептала она с суеверным страхом.
— Судьбу нельзя два раза пытаться... Не годится... Она узнает, подслушает... Судьба не любит, когда ее спрашивают. Оттого все ворожки несчастные.

Я хотел ответить Олесе какой-нибудь шуткой и не мог: слишком много искреннего убеждения было в ее словах, так что даже, когда она, упомянув про судьбу, со странной боязнью оглянулась на дверь, я невольно повторил это движение.

— Ну, если не хочешь мне погадать, так Расскажи, что у тебя тогда вышло? — попросил я.

Олеся вдруг бросила прялку и притронулась рукой к моей руке.

— Нет... Лучше не надо, — сказала она, и ее глаза приняли умоляюще-

детское выражение. — Пожалуйста, не просите... Нехорошо вам вышло... Не просите лучше...

Но я продолжал настаивать. Я не мог разобраться: был ли ее отказ и темные намеки на судьбу наигранным приемом гадалки, или она действительно сама верила в то, о чем говорила, но мне стало как-то не по себе, почти жутко.

— Ну хорошо, я, пожалуй, скажу, — согласилась наконец Олеся. — Только смотрите, уговор лучше денег: не сердиться, если вам что не понравится. Вышло вам вот что: человек вы хотя и добрый, но только слабый... Доброта ваша не хорошая, не сердечная. Слову вы своему не господин. Над людьми любите верх брать, а сами им хотя и не хотите, но подчиняетесь. Вино любите, а также... Ну да все равно, говорить, так уж все по порядку... До нашей сестры больно охочи, и через это вам много в жизни будет зла... Деньгами вы не дорожите и копить их не умеете — богатым никогда не будете... Говорить дальше?

— Говори, говори! Все, что знаешь, говори!

— Дальше вышло, что жизнь ваша будет невеселая. Никого вы сердцем не полюбите, потому что сердце у вас холодное, ленивое, а тем, которые вас будут любить, вы много горя принесете. Никогда вы не женитесь, так холостым и умрете. Радостей вам в жизни больших не будет, но будет много скуки и тяготы... Сильную нужду будете терпеть, однако под конец жизни судьба ваша переменится через смерть какого-то близкого вам человека и совсем для вас неожиданно. Только все это будет еще через много лет, а вот в этом году... Я не знаю, уж когда именно, — карты говорят, что очень скоро... Может быть, даже и в этом месяце...

— Что же случится в этом году? — спросил я, когда она опять остановилась.

— Да уж боюсь даже говорить дальше. Падает вам большая любовь со стороны какой-то трефовой дамы. Вот только не могу догадаться, замужняя она или девушка, а знаю, что с темными волосами...

Я невольно бросил быстрый взгляд на голову Олеси.

— Что вы смотрите? — покраснела вдруг она, почувствовав мой взгляд с пониманием, свойственным некоторым женщинам. — Ну да, вроде моих, — продолжала она, машинально поправляя волосы и еще больше краснея.

— Так ты говоришь — большая трефовая любовь? — пошутил я.

— Не смейтесь, не надо смеяться, — серьезно, почти строго, заметила Олеся. — Я вам все только правду говорю.

— Хорошо, не буду, не буду. Что же дальше?

— Дальше... Ох! Нехорошо выходит этой трефовой даме, хуже смерти. Позор она через вас большой примет, такой, что во всю жизнь

забыть нельзя, печаль долгая ей выходит... А вам в ее планете ничего дурного не выходит.

— Послушай, Олеся, а не могли ли тебя карты обмануть? Зачем же я буду трефовой даме столько неприятностей делать? Человек я тихий, скромный, а ты столько страхов про меня наговорила.

— Ну, уж этого я не знаю. Да и вышло-то так, что не вы это сделаете, — не нарочно, значит, а только через вас вся эта беда стрясется... Вот когда мои слова сбудутся, вы меня тогда вспомните.

— И все это тебе карты сказали, Олеся?

Она ответила не сразу, уклончиво и как будто бы неохотно:

— И карты... Да я и без них узнаю много, вот хоть бы по лицу. Если, например, который человек должен скоро нехорошей смертью умереть, я это сейчас у него на лице прочитаю, даже говорить мне с ним не нужно <...>.

Она перестала пряхть и сидела, низко опустив голову, тихо положив руки вдоль колен. В ее неподвижно остановившихся глазах с расширившимися зрачками отразился какой-то темный ужас, какая-то невольная покорность таинственным силам и сверхъестественным знаниям, осенявшим ее душу.

В это время старуха разостлала на столе чистое полотенце с вышитыми концами и поставила на него дымящийся горшок.

— Иди ужинать, Олеся, — позвала она внучку и после минутного колебания прибавила, обращаясь ко мне, — может быть, и вы, господин, с нами откушаете? Милости просим... Только неважные у нас кушанья-то, супов не варим, а просто крупничок полевой...

Нельзя сказать, чтобы ее приглашение отзывалось особенной настойчивостью, и я уже было хотел отказаться от него, но Олеся в свою очередь попросила меня с такой милой простотой и с такой ласковой улыбкой, что я поневоле согласился. Она сама налила мне полную тарелку крупника — похлебки из гречневой крупы с салом, луком, картофелем и курицей — чрезвычайно вкусного и питательного кушанья. Сядя за стол, ни бабушка, ни внучка не перекрестились <...>.

Спустя час после ужина я простился с хозяйками избушки на курьих ножках.

— Хотите, я вас провожу немножко? — предложила Олеся.

— Какие такие проводы еще выдумала! — сердито прошамкала старуха. — Не сидится тебе на месте, стрекоза...

Но Олеся уже накинула на голову красный кашемировый платок и вдруг, подбежав к бабушке, обняла ее и звонко поцеловала.

— Бабушка! Милая, дорогая, золотая... я только на минуточку, сейчас и назад.

— Ну ладно, уж ладно, верченая, — слабо отбивалась от нее старуха. — Вы, господин, не обессудьте: совсем дурочка она у меня.

Пройдя узкую тропинку, мы вышли на лесную дорогу, черную от грязи, всю истоптанную следами копыт и изборожденную колеями, полными воды, в которой отражался пожар вечерней зари. Мы шли обочиной дороги, сплошь покрытой бурыми прошлогодними листьями, еще не высохшими после снега. Кое-где сквозь их мертвую желтизну подымали свои лиловые головки крупные колокольчики «сна» — первого цветка Полесья.

— Послушай, Олеся, — начал я, — мне очень хочется спросить тебя кое о чем, да я боюсь, что ты рассердишься... Скажи мне, правду ли говорят, что твоя бабка... как бы это выразиться?..

— Колдунья? — спокойно помогла мне Олеся.

— Нет... Не колдунья... — замялся я. — Ну да, если хочешь — колдунья... Конечно, ведь мало ли что болтают. Почему ей просто-напросто не знать каких-нибудь трав, средств, заговоров?.. Впрочем, если тебе это неприятно, ты можешь не отвечать.

— Нет, отчего же, — отозвалась она просто, — что ж тут неприятного? Да она, правда, колдунья. Но только теперь она стала стара и уж не может делать того, что делала раньше.

— Что же она умела делать? — любопытно спросил я.

— Разное. Лечить умела, от зубов пользовала, руду заговаривала, отчитывала, если кого бешеная собака укусит или змея, клады указывала... да всего и не перечислишь.

— Знаешь что, Олеся?.. Ты меня извини, а я ведь этому всему не верю. Ну, будь со мною откровенна, я тебя никому не выдам: ведь все это — одно притворство, чтобы только людей морочить?

Она равнодушно пожала плечами.

— Думайте, как хотите. Конечно, бабу деревенскую обморочить ничего не стоит, но вас бы я не стала обманывать.

— Значит, ты твердо веришь колдовству?

— Да как же мне не верить? Ведь у нас в роду чары... Я и сама многое умею.

— Олеся, голубушка... Если бы ты знала, как мне это интересно... Неужели ты мне ничего не покажешь?

— Отчего же, покажу, если хотите, — с готовностью согласилась Олеся. — Сейчас желаете?

— Да, если можно, сейчас. — А бояться не будете?

— Ну вот глупости. Ночью, может быть, боялся бы, а теперь еще

светло.

— Хорошо. Дайте мне руку.

Я повиновался. Олеся быстро засучила рукав моего пальто и расстегнула запонку у манжетки, потом она достала из своего кармана небольшой, вершка в три, финский ножик и вынула его из кожаного чехла.

— Что ты хочешь делать? — спросил я, чувствуя, как во мне шевельнулось подленькое опасение.

— А вот сейчас... Ведь вы же сказали, что не будете бояться!

Вдруг рука ее сделала едва заметное легкое движение, и я ощутил в мякоти руки, немного выше того места, где щупают пульс, раздражающее прикосновение острого лезвия. Кровь тотчас же выступила во всю ширину пореза, полилась по руке и частыми каплями закапала на землю. Я едва удержался от того, чтобы не крикнуть, но, кажется, побледнел.

— Не бойтесь, живы останетесь, — усмехнулась Олеся.

Она крепко обхватила рукой мою руку повыше раны и, низко склонившись к ней лицом, стала быстро шептать что-то, обдавая мою кожу горячим прерывистым дыханием. Когда же Олеся выпрямилась и разжала свои пальцы, то на пораненном месте осталась только красная царапина.

— Ну что? Довольно с вас? — с лукавой улыбкой спросила она, пряча свой ножик. — Хотите еще?

— Конечно, хочу. Только, если бы можно было, не так уж страшно и без кровопролития, пожалуйста.

— Что бы вам такое показать? — задумалась она. — Разве это вот: идите впереди меня по дороге... Только, смотрите, не оборачивайтесь назад.

— А это не будет страшно? — спросил я, стараясь беспечной улыбкой прикрыть боязливое ожидание неприятного сюрприза.

— Нет, нет... Пустяки... Идите.

Я пошел вперед, очень заинтересованный опытом, чувствуя за своей спиной напряженный взгляд Олеси. Но, пройдя около двадцати шагов, я вдруг споткнулся на совсем ровном месте и упал ничком.

— Идите, идите! — закричала Олеся. — Не оборачивайтесь! Это ничего, до свадьбы заживет... Держитесь крепче за землю, когда будете падать.

Я пошел дальше. Еще десять шагов, и я вторично растянулся во весь рост.

Олеся громко захохотала и захлопала в ладоши.

— Ну что? Довольны? — крикнула она, сверкая своими белыми зубами. — Верите теперь? Ничего, ничего!.. Полетели не вверх, а вниз.

— Как ты это сделала? — с удивлением спросил я, отряхиваясь от приставших к моей одежде веточек и сухих травинок. — Это не секрет?

— Вовсе не секрет. Я вам с удовольствием расскажу. Только боюсь,

что, пожалуй, вы не поймете... Не сумею я объяснить...

Я действительно не совсем понял ее. Но, если не ошибаюсь, этот своеобразный фокус состоит в том, что она, идя за мною следом шаг за шагом, нога в ногу, и неотступно глядя на меня, в то же время старается подражать каждому, самому малейшему моему движению, так сказать отождествляет себя со мною. Пройдя таким образом несколько шагов, она начинает мысленно воображать на некотором расстоянии впереди меня веревку, протянутую поперек дороги на аршин от земли. В ту минуту, когда я должен прикоснуться ногой к этой воображаемой веревке, Олеся вдруг делает падающее движение, и тогда, по ее словам, самый крепкий человек должен непременно упасть...

— О! Я еще много чего умею, — самоуверенно заявила Олеся. — Например, я могу нагнать на вас страх.

— Что это значит?

— Сделаю так, что вам страшно станет. Сидите вы, например, у себя в комнате вечером, и вдруг на вас найдет ни с того ни с сего такой страх, что вы задрожите и оглянуться назад не посмеете. Только для этого мне нужно знать, где вы живете, и раньше видеть вашу комнату.

— Ну, уж это совсем просто, — усомнился я. — Подойдешь к окну, постучишь, крикнешь что-нибудь.

— О, нет, нет... Я буду в лесу в это время, никуда из хаты не выйду... Но я буду сидеть и все думать, что вот я иду по улице, вхожу в ваш дом, отворяю двери, вхожу в вашу комнату... Вы сидите где-нибудь... ну, хоть у стола... я подкрадываюсь к вам сзади тихонько... вы меня не слышите... я хватаю вас за плечо руками и начинаю давить... все крепче, крепче, крепче... а сама гляжу на вас... вот так — смотрите...

Ее тонкие брови вдруг сдвинулись, глаза в упор остановились на мне с грозным и притягивающим выражением, зрачки увеличились и посинели. Мне тотчас же вспомнилась виденная мною в Москве, в Третьяковской галерее, голова Медузы, — работа уж не помню какого художника. Под этим пристальным, странным взглядом меня охватил холодный ужас сверхъестественного.

— Полно, полно, Олеся... будет, — сказал я с деланным смехом. — Мне гораздо больше нравится, когда ты улыбаешься, — тогда у тебя такое милое, детское лицо.

Мы пошли дальше. Мне вдруг вспомнилась выразительность и даже для простой девушки изысканность фраз в разговоре Олеся, и я сказал:

— Знаешь, что меня удивляет в тебе, Олеся? Вот ты выросла в лесу, никого не выдавши... Читать ты, конечно, тоже много не могла...

— Да я вовсе не умею и читать-то.

— Ну, тем более... А между тем ты так хорошо говоришь, не хуже

настоящей барышни. Скажи мне, откуда у тебя это? Понимаешь, о чем я спрашиваю?

— Да, понимаю. Это все от бабушки... Вы не глядите, что она такая с виду. У! Какая она умная! Вот, может быть, она и при вас разговорится, когда побольше привыкнет... Она все знает, ну просто все на свете, про что ни спросишь. Правда, постарела она теперь.

— Значит, она много видела на своем веку? Откуда она родом? Где она раньше жила?

Кажется, эти вопросы не понравились Олесе. Она ответила не сразу, уклончиво и неохотно:

— Не знаю... Да она об этом и не любит говорить. Если же когда и скажет что, то всегда просит забыть и не вспоминать больше... Ну, однако, мне пора, — заторопилась Олеся, — бабушка будет сердиться. До свиданья... Простите, имени вашего не знаю.

Я назвал.

— Иван Тимофеевич? Ну, вот и отлично. Так до свиданья, Иван Тимофеевич! Не брезгуйте нашей хатой, заходите.

На прощанье я протянул ей руку, и ее маленькая крепкая рука ответила мне сильным, дружеским пожатием.

С этого дня я стал частым гостем в избушке на курьих ножках. Каждый раз, когда я приходил, Олеся встречала меня с своим привычным сдержанным достоинством. Но всегда, по первому невольному движению, которое она делала, увидев меня, я замечал, что она радуется моему приходу. Старуха по-прежнему не переставала бурчать что-то себе под нос, но явного недоброжелательства не выражала благодаря невидимому для меня, но несомненному заступничеству внучки; также немалое влияние в благотворном для меня смысле оказывали приносимые мною кое-когда подарки: то теплый платок, то банка варенья, то бутылка вишневой наливки. У нас с Олесей, точно по безмолвному обоюдному уговору, вошло в обыкновение, что она меня провожала до Ириновского шляха, когда я уходил домой. И всегда у нас в это время завязывался такой живой, интересный разговор, что мы оба старались поневоле продлить дорогу, идя как можно тише безмолвными лесными опушками. Дойдя до Ириновского шляха, я ее провожал обратно с полверсты, и все-таки, прежде чем проститься, мы еще долго разговаривали, стоя под пахучим навесом сосновых ветвей.

Не одна красота Олеси меня в ней очаровывала, но также и ее цельная, самобытная, свободная натура, ее ум, одновременно ясный и окутанный непоколебимым наследственным суеверием, детски невинный, но и не

лишенный лукавого кокетства красивой женщины. Она не уставала меня расспрашивать подробно обо всем, что занимало и волновало ее первобытное, яркое воображение: о странах и народах, о явлениях природы, об устройстве земли и вселенной, об ученых людях, о больших городах... Многое ей казалось удивительным, сказочным, неправдоподобным. Но я с самого начала нашего знакомства взял с нею такой серьезный, искренний и простой тон, что она охотно принимала на бесконтрольную веру все мои рассказы. Иногда, затрудняясь объяснить ей что-нибудь, слишком, по моему мнению, непонятное для ее полудикарской головы (а иной раз и самому мне не совсем ясное), я возражал на ее жадные вопросы: «Видишь ли... Я не сумею тебе этого рассказать... Ты не поймешь меня».

Тогда она принималась меня умолять:

— Нет, пожалуйста, пожалуйста, я постараюсь... Вы хоть как-нибудь скажите... хоть и непонятно...

Однажды я вскользь упомянул что-то про Петербург. Олеся тотчас же заинтересовалась:

— Что такое Петербург? Местечко?

— Нет, это не местечко; это самый большой русский город.

— Самый большой? Самый, самый, что ни на есть? И больше его нету? — наивно пристала она ко мне.

— Ну да... Там все главное начальство живет... господа большие... Дома там все каменные, деревянных нет.

— Уж, конечно, гораздо больше нашей Степани? — уверенно спросила Олеся.

— О да... немножко побольше... так, раз в пятьсот. Там такие есть дома, в которых в каждом народе живет вдвое больше, чем во всей Степани.

— Ах, боже мой! Какие же это дома? — почти в испуге спросила Олеся.

Мне пришлось, по обыкновению, прибегнуть к сравнению.

— Ужасные дома. В пять, в шесть, а то и в семь этажей. Видишь вот ту сосну?

— Самую большую? Вижу.

— Так вот такие высокие дома. И сверху донизу набиты людьми. Живут эти люди в маленьких конурках, точно птицы в клетках, человек по десяти в каждой, так что всем и воздуху-то не хватает. А другие внизу живут, под самой землей, в сырости и холоде; случается, что солнца у себя в комнате круглый год не видят.

— Ну, уж я б ни за что не променяла своего леса на ваш город, — сказала Олеся, покачав головой. — Я и в Степань-то приду на базар, так мне противно делается. Толкаются, шумят, бранятся... И такая меня тоска возьмет за лесом, — так бы бросила все и без оглядки побежала... Бог с ним,

с городом вашим, не стала бы я там жить никогда.

— Ну, а если твой муж будет из города? — спросил я с легкой улыбкой.

Ее брови нахмурились, и тонкие ноздри дрогнули.

— Вот еще! — сказала она с пренебрежением. — Никакого мне мужа не надо.

— Это ты теперь только так говоришь, Олеся. Почти все девушки то же самое говорят и все же замуж выходят. Подожди немного: встретишься с кем-нибудь, полюбишь — тогда не только в город, а на край света с ним пойдешь.

— Ах, нет, нет... пожалуйста, не будем об этом, — досадливо отмахивалась она. — Ну к чему этот разговор?.. Прошу вас, не надо.

— Какая ты смешная, Олеся. Неужели ты думаешь, что никогда в жизни не полюбишь мужчину? Ты — такая молодая, красивая, сильная. Если в тебе кровь загорится, то уж тут не до зарок будет.

— Ну что ж — и полюблю! — сверкнув глазами, с вызовом ответила Олеся. — Спрашиваться ни у кого не буду...

— Стало быть, и замуж пойдешь, — поддразнил я.

— Это вы, может быть, про церковь говорите? — догадалась она.

— Конечно, про церковь... Священник вокруг аналоя будет водить, дьякон запоет «Исайя ликуй», на голову тебе наденут венец...

Олеся опустила веки и со слабой улыбкой отрицательно покачала головой.

— Нет, голубчик... Может быть, вам и не понравится, что я скажу, а только у нас в роду никто не венчался: и мать и бабка без этого прожили... Нам в церковь и заходить-то нельзя...

— Все из-за колдовства вашего?

— Да, из-за нашего колдовства, — со спокойной серьезностью ответила Олеся. — Как же я посмею в церковь показаться, если уже от самого рождения моя душа продана ему.

— Олеся... Милая... Поверь мне, что ты сама себя обманываешь... Ведь это дико, это смешно, что ты говоришь.

На лице Олеси опять показалось уже замеченное мною однажды странное выражение убежденной и мрачной покорности своему таинственному предназначению.

— Нет, нет... Вы этого не можете понять, а я это чувствую... Вот здесь, — она крепко притиснула руку к груди, — в душе чувствую. Весь наш род проклят во веки веков. Да вы посудите сами: кто же нам помогает, как не он? Разве может простой человек сделать то, что я могу? Вся наша сила от него идет <...>.

Несмотря на резкое разногласие в этом единственном пункте, мы все

сильнее и крепче привязывались друг к другу. О любви между нами не было сказано еще ни слова, но быть вместе для нас уже сделалось потребностью, и часто в молчаливые минуты, когда наши взгляды нечаянно и одновременно встречались, я видел, как увлажнялись глаза Олеси и как билась тоненькая голубая жилка у нее на виске...

Зато мои отношения с Ярмолой совсем испортились. Для него, очевидно, не были тайной мои посещения избушки на курьих ножках и вечерние прогулки с Олесей: он всегда с удивительной точностью знал все, что происходит в его лесу. С некоторого времени я заметил, что он начинает избегать меня. Его черные глаза следили за мною издали с упреком и неудовольствием каждый раз, когда я собирался идти в лес, хотя порицания своего он не высказывал ни одним словом. Наши комически серьезные занятия грамотой прекратились. Если же я иногда вечером звал Ярмолу учиться, он только махал рукой.

— Куда там! Пустое это дело, паныч, — говорил он с ленивым презрением.

На охоту мы тоже перестали ходить <...>.

Однажды, когда я, по обыкновению, пришел перед вечером в избушку на курьих ножках, мне сразу бросилось в глаза удрученное настроение духа ее обитательниц. Старуха сидела с ногами на постели и, сгорбившись, обхватив голову руками, качалась взад и вперед и что-то невнятно бормотала. На мое приветствие она не обратила никакого внимания. Олеся поздоровалась со мной, как и всегда, ласково, но разговор у нас не вязался. По-видимому, она слушала меня рассеянno и отвечала невпопад. На ее красивом лице лежала тень какой-то беспрестанной внутренней заботы.

— Я вижу, у вас случилось что-то нехорошее, Олеся, — сказал я, осторожно прикасаясь рукой к ее руке, лежавшей на скамейке.

Олеся быстро отвернулась к окну, точно разглядывая там что. Она старалась казаться спокойной, но ее брови сдвинулись и задрожали, а зубы крепко прикусили нижнюю губу.

— Нет... что же у нас могло случиться особенного? — произнесла она глухим голосом. — Все как было, так и осталось.

— Олеся, зачем ты говоришь мне неправду? Это нехорошо с твоей стороны... А я было думал, что мы с тобой совсем друзьями стали.

— Право же, ничего нет... Так... свои заботы... пустячные...

— Нет, Олеся, должно быть, не пустячные. Посмотри — ты сама на себя непохожа сделалась.

— Это вам так кажется только.

— Будь же со мной откровенна, Олеся. Не знаю, смогу ли я тебе

помочь, но, может быть, хоть совет какой-нибудь дам... Ну, наконец, просто тебе легче станет, когда поделишься горем.

— Ах, да, правда, не стоит и говорить об этом, — с нетерпением возразила Олеся. — Ничем вы тут нам не можете пособить.

Старуха вдруг с небывалой горячностью вмешалась в наш разговор:

— Чего ты фордыбачишься, дурочка! Тебе дело говорят, а ты нос дерешь. Точно умнее тебя и на свете-то нет никого. Позвольте, господин, я вам всю эту историю расскажу по порядку, — повернулась она в мою сторону.

Размеры неприятности оказались гораздо значительнее, чем я мог предположить из слов гордой Олеси. Вчера вечером в избушку на курьих ножках заезжал местный урядник.

— Сначала-то он честь честью сел и водки потребовал, — говорила Мануйлиха, — а потом и пошел, и пошел. «Выбирайся, говорит, из хаты в двадцать четыре часа со всеми своими потрохами. Если, говорит, я в следующий раз приеду и застаю тебя здесь, так и знай, не миновать тебе этапного порядка. При двух, говорит, солдатах отправлю тебя на родину». А моя родина, батюшка, далекая, город Амченск... У меня там теперь и души знакомой нет, да и пачпорта наши просрочены-распросрочены, да еще к тому неисправные. Ах ты, господи, несчастье мое!

— Почему же он раньше позволял тебе жить, а только теперь надумался? — спросил я.

— Да вот поди ж ты... Брехал он что-то такое, да я, признаться, не поняла. Видишь, какое дело: хибарка эта, вот в которой мы живем, не наша, а помещичья. Ведь мы раньше с Олесей на селе жили, а потом...

— Знаю, знаю, бабушка, слышал об этом... Мужики на тебя рассердились...

— Ну вот, вот это самое. Я тогда у старого помещика, господина Абросимова, эту халупу выпросила. Ну, а теперь будто бы купил лес новый помещик и будто бы хочет он какие-то болота, что ли, сушить. Только чего же я-то им помешала?

— Бабушка, а может быть, все это вранье одно? — заметил я. — Просто-напросто уряднику «красненькую» захотелось получить.

— Давала, родной, давала. Не берет-ет! Вот история... Четвертной билет давала, не берет... Куд-да тебе! Так на меня выверился, что я уж не знала, где стою. Заладил в одну душу: «Вон да вон!» Что ж мы теперь делать будем, сироты мы несчастные! Батюшка родимый, хотя бы ты нам чем помог, усостыдил бы его, утробу ненасытную. Век бы, кажется, была тебе благодарна.

— Бабушка! — укоризненно, с расстановкой произнесла Олеся.

— Чего там — бабушка! — рассердилась старуха. — Я тебе уже

двадцать пятый год — бабушка. Что же, по-твоему, с сумой лучше идти? Нет, господин, вы ее не слушайте. Уж будьте милостивы, если что можете сделать, то сделайте.

Я в неопределенных выражениях обещал похлопотать, хотя, по правде сказать, надежды было мало. Если уж наш урядник отказывался «взять», значит дело было слишком серьезное. В этот вечер Олеся простилась со мной холодно и, против обыкновения, не пошла меня провожать. Я видел, что самолюбивая девушка сердится на меня за мое вмешательство и немного стыдится бабушкиной плаксивости.

Было серенькое теплое утро. Уже несколько раз принимался идти крупный, короткий, благодатный дождь, после которого на глазах растет молодая трава и вытягиваются новые побеги. После дождя на минутку выглядывало солнце, обливая радостным сверканием облитую дождем молодую, еще нежную зелень сиреней, сплошь наполнявших мой палисадник; громче становился задорный крик воробьев на рыхлых огородных грядках; сильнее благоухали клейкие коричневые почки тополя. Я сидел у стола и чертил план лесной дачи, когда в комнату вошел Ярмола.

— Есть врядник, — проговорил он мрачно.

У меня в эту минуту совсем вылетело из головы отданное мною два дня тому назад приказание уведомить меня в случае приезда урядника, и я никак не мог сразу сообразить, какое отношение имеет в настоящую минуту ко мне этот представитель власти.

— Что такое? — спросил я в недоумении.

— Говорю, что врядник приехал, — повторил Ярмола тем же враждебным тоном, который он вообще принял со мною за последние дни. — Сейчас я видел его на плотине. Сюда едет.

На улице послышалось тарахтенье колес. Я поспешно бросился к окну и отворил его. Урядник сам правил лошадью, занимая своим чудовищным телом, облеченным в серую шинель щегольского офицерского сукна, оба сиденья.

— Мое почтение, Евпсихий Африканович! — крикнул я, высовываясь из окошка.

— А-а, мое почтенье-с! Как здоровьице? — отозвался он любезным, раскатистым начальническим баритоном.

Он сдержал мерина и, прикоснувшись выпрямленной ладонью к козырьку, с тяжеловесной грацией наклонил вперед туловище.

— Зайдите на минуточку. У меня к вам делишко одно есть.

Урядник широко развел руками и затряс головой.

— Не могу-с! При исполнении служебных обязанностей. Еду в

Волошу на мертвое тело — утопленник-с.

Но я уже знал слабые стороны Евпсихия Африкановича и потому сказал с деланным равнодушием:

— Жаль, жаль... А я из экономии графа Ворцеля добыл пару таких бутылочек...

— Не могу-с. Долг службы... <...>. — Ну-с, а дельце-то ваше какого сорта? — спросил после пятой рюмки урядник, откинувшись на спинку затрещавшего под ним старого кресла.

Я принялся излагать ему положение бедной старухи, упомянул про ее беспомощность и отчаяние, вскользь прошелся насчет ненужного формализма. Урядник слушал меня с опущенной вниз головой, методически очищая от корешков красную, упругую, ядреную редиску и пережевывая ее с аппетитным хрустением. Изредка он быстро вскидывал на меня равнодушные, мутные, до смешного маленькие и голубые глаза, но на его красной огромной физиономии я не мог ничего прочесть: ни сочувствия, ни сопротивления. Когда я, наконец, замолчал, он только спросил:

— Ну, так чего же вы от меня хотите?

— Как чего? — заволновался я. — Вникните же, пожалуйста, в их положение. Живут две бедные, незащитные женщины...

— И одна из них прямо бутон садовый! — ехидно вставил урядник.

— Ну уж там бутон или не бутон — это дело девятое. Но почему, скажите, вам и не принять в них участия? Будто бы вам уж так к спеху требуется их выселить? Ну хоть подождите немного, покамест я сам у помещика похлопочу. Чем вы рискуете, если подождете с месяц?

— Как чем я рискую-с?! — взвился с кресла урядник. — Помилуйте, да всем рискую и прежде всего службой-с. Бог его знает, каков этот господин Ильяшевич, новый помещик. А может быть, каверзник-с... из таких, которые, чуть что, сейчас бумажку, перышко и доносик в Петербург-с? У нас ведь бывают и такие-с!

Я попробовал успокоить расходившегося урядника.

— Ну полноте, Евпсихий Африканович. Вы преувеличиваете все это дело. Наконец что же? Ведь риск риском, а благодарность все-таки благодарностью.

— Фью-ю-ю! — протяжно свистнул урядник и глубоко засунул руки в карманы шаровар. — Тоже благодарность называется! Что же вы думаете, я из-за каких-нибудь двадцати пяти рублей поставлю на карту свое служебное положение? Нет-с, это вы обо мне плохо понимаете.

— Да что вы горячитесь, Евпсихий Африканович. Здесь вовсе не в сумме дело, а просто так... Ну хоть по человечеству...

— По че-ло-ве-че-ству? — иронически отчеканил он каждый слог. — Позвольте-с, да у меня эти человеки вот где сидят-с!

Он энергично ударил себя по могучему бронзовому затылку, который свешивался на воротник жирной безволосой складкой.

— Ну, уж это вы, кажется, слишком, Евпсихий Африканович.

— Ни капельки не слишком-с. «Это — язва здешних мест», по выражению знаменитого баснописца, господина Крылова. Вот кто эти две дамы-с! Вы не изволили читать прекрасное сочинение его сиятельства князя Урусова под заглавием «Полицейский урядник»?

— Нет, не приходилось.

— И очень напрасно-с. Прекрасное и высоконравственное произведение. Советую на досуге ознакомиться...

— Хорошо, хорошо, я с удовольствием ознакомлюсь. Но я все-таки не понимаю, какое отношение имеет эта книжка к двум бедным женщинам?

— Какое? Очень прямое-с. Пункт первый (Евпсихий Африканович загнул толстый, волосатый указательный палец на левой руке): «Урядник имеет неослабное наблюдение, чтобы все ходили в храм божий с усердием, пребывая, однако, в оном без усилия...» Позвольте узнать, ходит ли эта... как ее... Мануйлиха, что ли?.. Ходит ли она когда-нибудь в церковь?

Я молчал, удивленный неожиданным оборотом речи. Он поглядел на меня с торжеством и загнул второй палец.

— Пункт второй: «Запрещаются повсеместно лжепредсказания и лжепредзнаменования...» Чувствуете-с? Затем пункт третий-с: «Запрещается выдавать себя за колдуна или чародея и употреблять подобные обманы-с». Что вы на это скажете? А вдруг все это обнаружится или стороной дойдет до начальства? Кто в ответе? — Я. Кого из службы по шапке? — Меня. Видите, какая штуkenция.

Он опять уселся в кресло. Глаза его, поднятые кверху, рассеянно бродили по стенам комнаты, а пальцы громко барабанили по столу.

— Ну, а если я вас попрошу, Евпсихий Африканович, — начал я опять умильным тоном. — Конечно, ваши обязанности сложные и хлопотливые, но ведь сердце у вас, я знаю, предоброе, золотое сердце. Что вам стоит пообещать мне не трогать этих женщин?

Глаза урядника вдруг остановились поверх моей головы.

— Хорошенькое у вас ружьишко, — небрежно уронил он, не переставая барабанить. — Славное ружьишко. Прошлый раз, когда я к вам заезжал и не застал дома, я все на него любовался... Чудное ружьецо!

Я тоже повернул голову назад и поглядел на ружье.

— Да, ружье недурное, — похвалил я. — Ведь оно старинное, фабрики Гастин-Реннета, я его только в прошлом году на центральное переделал. Вы обратите внимание на стволы.

— Как же-с, как же-с... я на стволы-то главным образом и любовался. Великолепная вещь... Просто, можно сказать, сокровище.

Наши глаза встретились, и я увидел, как в углах губ урядника дрогнула легкая, но многозначительная улыбка. Я поднялся с места, снял со стены ружье и подошел с ним к Евпсихию Африкановичу.

— У черкесов есть очень милый обычай дарить гостю все, что он похвалит, — сказал я любезно. — Мы с вами хотя и не черкесы, Евпсихий Африканович, но я прошу вас принять от меня эту вещь на память.

Урядник для виду застыдился.

— Помилуйте, такую прелесть! Нет, нет, это уже чересчур щедрый обычай!

Однако мне не пришлось долго его уговаривать. Урядник принял ружье, бережно поставил его между своих колен и любовно отер чистым носовым платком пыль, осевшую на спусковой скобе. Я немного успокоился, увидев, что ружье по крайней мере перешло в руки любителя и знатока. Почти тотчас Евпсихий Африканович встал и заторопился ехать.

— Дело не ждет, а я тут с вами забалакался, — говорил он, громко стуча о пол неналезавшими калошами. — Когда будете в наших краях, милости просим ко мне.

— Ну, а как же насчет Мануйлихи, господин начальство? — деликатно напомнил я.

— Посмотрим, увидим... — неопределенно буркнул Евпсихий Африканович. — Я вот вас еще о чем хотел попросить... Редис у вас замечательный...

— Сам вырастил.

— Уд-дивительный редис! А у меня, знаете ли, моя благоверная страшная обожательница всякой овощи. Так если бы, знаете, того... пучочек один.

— С наслаждением, Евпсихий Африканович. Сочту долгом... Сегодня же с нарочным отправлю корзиночку. И маслица уж позвольте заодно... Масло у меня на редкость.

— Ну, и маслица... — милостиво разрешил урядник. — А этим бабам вы дайте уж знак, что я их пока что не трону. Только пусть они ведают, — вдруг возвысил он голос, — что одним спасибо от меня не отделаются. А засим желаю здравствовать. Еще раз мерси вам за подарочек и за угощение.

Он по-военному пристукнул каблуками и грузной походкой сытого важного человека пошел к своему экипажу, около которого в почтительных позах, без шапок, уже стояли сотский, сельский староста и Ярмола.

Евпсихий Африканович сдержал свое обещание и оставил на неопределенное время в покое обитательниц лесной хатки. Но мои отношения с Олесей резко и странно изменились. В ее обращении со мной

не осталось и следа прежней доверчивой и наивной ласки, прежнего оживления, в котором так мило смешивалось кокетство красивой девушки с резвой ребяческой шаловливостью. В нашем разговоре появилась какая-то непреодолимая неловкая принужденность... С поспешной боязливостью Олеся избегала живых тем, дававших раньше такой безбрежный простор нашему любопытству.

В моем присутствии она отдавалась работе с напряженной, суровой деловитостью, но часто я наблюдал, как среди этой работы ее руки вдруг опускались бессильно вдоль колен, а глаза неподвижно и неопределенно устремлялись вниз, на пол. Если в такую минуту я называл Олесю по имени или предлагал ей какой-нибудь вопрос, она вздрагивала и медленно обращала ко мне свое лицо, в котором отражались испуг и усилие понять смысл моих слов. Иногда мне казалось, что ее тяготит и стесняет мое общество, но это предположение плохо вязалось с громадным интересом, возбуждаемым в ней всего лишь несколько дней тому назад каждым моим замечанием, каждой фразой... Оставалось думать только, что Олеся не хочет мне простить моего, так возмутившего ее независимую натуру, покровительства в деле с урядником. Но и эта догадка не удовлетворяла меня: откуда в самом деле могла явиться у простой, выросшей среди леса девушки такая чрезмерно шепетильная гордость?

Все это требовало разъяснений, а Олеся упорно избегала всякого благоприятного случая для откровенного разговора. Наши вечерние прогулки прекратились. Напрасно каждый день, собираясь уходить, я бросал на Олесю красноречивые, умоляющие взгляды, — она делала вид, что не понимает их значения. Присутствие же старухи, несмотря на ее глухоту, беспокоило меня.

Иногда я возмущался против собственного бессилия и против привычки, тянувшей меня каждый день к Олесе. Я и сам не подозревал, какими тонкими, крепкими, незримыми нитями было привязано мое сердце к этой очаровательной, не понятной для меня девушке. Я еще не думал о любви, но я уже переживал тревожный, предшествующий любви период, полный смутных, томительно грустных ощущений. Где бы я ни был, чем бы ни старался развлечься, — все мои мысли были заняты образом Олеси, все мое существо стремилось к ней, каждое воспоминание об ее иной раз самых ничтожных словах, об ее жестах и улыбках сжимало с тихой и сладкой болью мое сердце. Но наступал вечер, и я подолгу сидел возле нее на низкой шаткой скамеечке, с досадой чувствуя себя все более робким, неловким и ненаходчивым.

Однажды я провел таким образом около Олеси целый день. Уже с утра я себя чувствовал нехорошо, хотя еще не мог ясно определить, в чем заключалось мое нездоровье. К вечеру мне стало хуже. Голова сделалась

тяжелой, в ушах шумело, в темени я ощущал тупую беспрестанную боль, — точно кто-то давил на него мягкой, но сильной рукой. Во рту у меня пересохло, и по всему телу постоянно разливалась какая-то ленивая, томная слабость, от которой каждую минуту хотелось зевать и тянуться. В глазах чувствовалась такая боль, как будто бы я только что пристально и близко глядел на блестящую точку.

Когда же поздним вечером я возвращался домой, то как раз на середине пути меня вдруг схватил и затряс бурный приступ озноба. Я шел, почти не видя дороги, почти не сознавая, куда иду, и шатаюсь, как пьяный, между тем как мои челюсти выбивали одна о другую частую и громкую дробь.

Я до сих пор не знаю, кто довез меня до дому... Ровно шесть дней была меня неотступная ужасная полесская лихорадка <...>.

Через шесть дней моя крепкая натура, вместе с помощью хинина и настоя подорожника, победила болезнь. Я встал с постели весь разбитый, едва держась на ногах. Выздоровление совершалось с жадной быстротой. В голове, утомленной шестидневным лихорадочным бредом, чувствовалось теперь ленивое и приятное отсутствие мыслей. Аппетит явился в удвоенном размере, и тело мое крепло по часам, впивая каждой своей частицей здоровье и радость жизни. Вместе с тем с новой силой потянуло меня в лес, в одинокую покривившуюся хату. Нервы мои еще не оправились, и каждый раз, вызывая в памяти лицо и голос Олеси, я чувствовал такое нежное умиление, что мне хотелось плакать.

Прошло еще пять дней, и я настолько окреп, что пешком, без малейшей усталости, дошел до избышки на курьих ножках. Когда я ступил на ее порог, то сердце забилося с тревожным страхом у меня в груди. Почти две недели не видал я Олеси и теперь особенно ясно понял, как была она мне близка и мила. Держась за скобку двери, я несколько секунд медлил и едва переводил дыхание. В нерешимости я даже закрыл глаза на некоторое время, прежде чем толкнуть дверь...

В впечатлениях, подобных тем, которые последовали за моим входом, никогда невозможно разобраться... Разве можно запомнить слова, произносимые в первые моменты встречи матерью и сыном, мужем и женой или двумя влюбленными? Говорятся самые простые, самые обиходные фразы, смешные даже, если их записывать с точностью на бумаге. Но здесь каждое слово уместно и бесконечно мило уже потому, что говорится оно самым дорогим на свете голосом.

Я помню, очень ясно помню только то, что ко мне быстро обернулось бледное лицо Олеси и что на этом прелестном, новом для меня лице в одно

мгновение отразились, сменяя друг друга, недоумение, испуг, тревога и нежная, сияющая улыбка любви... Старуха что-то шамкала, топчась возле меня, но я не слышал ее приветствий. Голос Олеси донесся до меня, как сладкая музыка:

— Что с вами случилось? Вы были больны? Ох, как же вы исхудали, бедный мой.

Я долго не мог ей ничего ответить, и мы молча стояли друг против друга, держась за руки, прямо, глубоко и радостно смотря друг другу в глаза. Эти несколько молчаливых секунд я всегда считаю самыми счастливыми в моей жизни, — никогда, никогда, ни раньше, ни позднее, я не испытывал такого чистого, полного, всепоглощающего восторга. И как много я читал в больших темных глазах Олеси: и волнение встречи, и упрек за мое долгое отсутствие, и горячее признание в любви... Я почувствовал, что вместе с этим взглядом Олеся отдает мне радостно, без всяких условий и колебаний, все свое существо.

Она первая нарушила это очарование, указав мне медленным движением век на Мануйлиху. Мы уселись рядом, и Олеся принялась подробно и заботливо расспрашивать меня о ходе моей болезни, о лекарствах, которые я принимал, о словах и мнениях доктора (два раза приезжавшего ко мне из местечка). Про доктора она заставила меня рассказать несколько раз подряд, и я порою замечал на ее губах беглую насмешливую улыбку.

— Ах, зачем я не знала, что вы захворали! — воскликнула она с нетерпеливым сожалением. — Я бы в один день вас на ноги поставила... Ну, как же им можно довериться, когда они ничего, ни-че-го не понимают? Почему вы за мной не послали?

Я замялся.

— Видишь ли, Олеся... это и случилось так внезапно... и, кроме того, я боялся тебя беспокоить. Ты в последнее время стала со мной какая-то странная, точно все сердилась на меня или надоел я тебе... Послушай, Олеся, — прибавил я, понижая голос, — нам с тобой много, много нужно поговорить... только одним... понимаешь?

Она тихо опустила веки в знак согласия, потом боязливо оглянулась на бабушку и быстро шепнула:

— Да... я и сама хотела... потом... подождите...

Едва только закатилось солнце, как Олеся стала меня торопить идти домой.

— Собирайтесь, собирайтесь скорее, — говорила она, увлекая меня за руку со скамейки. — Если вас теперь сыростью охватит, — болезнь сейчас же назад вернется.

— А ты куда же, Олеся? — спросила вдруг Мануйлиха, видя, что ее

внучка поспешно набросила на голову большой серый шерстяной платок.

— Пойду... провожу немножко, — ответила Олеся.

Она произнесла это равнодушно, глядя не на бабушку, а в окно, но в ее голосе я уловил чуть заметный оттенок раздражения.

— Пойдешь-таки? — с ударением переспросила старуха.

Глаза Олеси сверкнули и в упор остановились на лице Мануйлихи.

— Да, и пойду! — возразила она надменно. — Уж давно об этом говорено и переговорено... Мое дело, мой и ответ.

— Эх, ты!.. — с досадой и укоризной воскликнула старуха.

Она хотела еще что-то прибавить, но только махнула рукой, поплелась своей дрожащей походкой в угол и, кряхтя, закопошилась там над какой-то корзиной.

Я понял, что этот быстрый недовольный разговор, которому я только что был свидетелем, служит продолжением длинного ряда взаимных ссор и вспышек. Спускаясь рядом с Олесей к бору, я спросил ее:

— Бабушка не хочет, чтобы ты ходила со мной гулять? Да?

Олеся с досадой пожала плечами.

— Пожалуйста, не обращайтесь на это внимания. Ну да, не хочет... Что ж!.. Разве я не вольна делать, что мне нравится?

Во мне вдруг поднялось неудержимое желание упрекнуть Олесю за ее прежнюю суровость.

— Значит, и раньше, еще до моей болезни, ты тоже могла, но только не хотела оставаться со мною один на один... Ах, Олеся, если бы ты знала, какую ты причиняла мне боль... Я так ждал, так ждал каждый вечер, что ты опять пойдешь со мною... А ты, бывало, всегда такая невнимательная, скучная, сердитая... О, как ты меня мучила, Олеся!..

— Ну, перестаньте, голубчик... Забудьте это, — с мягким извинением в голосе попросила Олеся.

— Нет, я ведь не в укор тебе говорю, — так, к слову пришлось... Теперь я понимаю, почему это было... А ведь сначала, — право, даже смешно и вспомнить, — я подумал, что ты обиделась на меня из-за урядника. И эта мысль меня сильно огорчала. Мне казалось, что ты меня таким далеким, чужим человеком считаешь, что даже простую дружескую услугу тебе от меня трудно принять... Очень мне это было горько... Я ведь и не подозревал, Олеся, что все это от бабушки идет...

Лицо Олеси вдруг вспыхнуло ярким румянцем.

— И вовсе не от бабушки!.. Сама я этого не хотела! — горячо, с задором воскликнула она.

Я поглядел на нее сбоку, так что мне стал виден чистый, нежный профиль ее слегка наклоненной головы. Только теперь я заметил, что и сама Олеся похудела за это время и вокруг ее глаз легли голубоватые тени.

Почувствовав мой взгляд, Олеся вскинула на меня глаза, но тотчас же опустила их и отвернулась с застенчивой улыбкой.

— Почему ты не хотела, Олеся? Почему? — спросил я обрывающимся от волнения голосом и, схватив Олесю за руку, заставил ее остановиться.

Мы в это время находились как раз на середине длинной, узкой и прямой, как стрела, лесной просеки. Высокие, стройные сосны обступали нас с обеих сторон, образуя гигантский, уходящий вдаль коридор со сводом из душистых сплетшихся ветвей. Голые, облупившиеся стволы были окрашены багровым отблеском догорающей зари...

— Почему? Почему, Олеся? — твердил я шепотом и все сильнее сжимал ее руку.

— Я не могла... Я боялась, — еле слышно произнесла Олеся. — Я думала, что можно уйти от судьбы... А теперь... теперь... Теперь мне все равно, все равно!.. Потому что я люблю тебя, мой дорогой, мое счастье, мой ненаглядный!.. Скажи только: любишь ли?

— Люблю, Олеся. Давно люблю и крепко люблю...

<...> И мы шли, обнявшись, среди этой улыбающейся живой легенды, без единого слова, подавленные своим счастьем и жутким безмолвием леса.

— Дорогой мой, а я ведь и забыла совсем, что тебе домой надо спешить, — спохватилась вдруг Олеся. — Вот какая гадкая! Ты только что выздоровел, а я тебя до сих пор в лесу держу.

В ее глазах мелькнуло отражение знакомого мне мистического ужаса.

— Помнишь, я тебе говорила про трефовую даму? Ведь эта трефовая дама — я, это со мной будет несчастье, про что сказали карты... Ты знаешь, я ведь хотела тебя попросить, чтобы ты и вовсе у нас перестал бывать. А тут как раз ты заболел, и я тебя чуть не полмесяца не видала... И такая меня по тебе тоска обуяла, такая грусть, что, кажется, все бы на свете отдала, лишь бы с тобой хоть минуточку еще побыть... Вот тогда-то я и решилась. Пусть, думаю, что будет, то и будет, а я своей радости никому не отдам...

— Это правда, Олеся. Это и со мной так было, — сказал я, прикасаясь губами к ее виску. — Я до тех пор не знал, что люблю тебя, покамест не расстался с тобой. Недаром, видно, кто-то сказал, что разлука для любви то же, что ветер для огня: маленькую любовь она тушит, а большую раздувает еще сильнее.

— Как ты сказал? Повтори, повтори, пожалуйста, — заинтересовалась Олеся.

Я повторил еще раз это не знаю кому принадлежащее изречение. Олеся задумалась, и я увидел по движению ее губ, что она повторяет мои слова.

Я близко вглядывался в ее бледное, закинутое назад лицо, в ее большие черные глаза с блестящими в них яркими лунными бликами, — и

смутное предчувствие близкой беды вдруг внезапным холодом заползло в мою душу.

Почти целый месяц продолжалась наивная, очаровательная сказка нашей любви, и до сих пор вместе с прекрасным обликом Олеси живут с неувядающей силой в моей душе эти пылающие вечерние зори, эти росистые, благоухающие ландышами и медом утра, полные бодрой свежести и звонкого птичьего гама, эти жаркие, томные, ленивые июньские дни... Ни разу ни скука, ни утомление, ни вечная страсть к бродячей жизни не шевельнулись за это время в моей душе. Я, как языческий бог или как молодое, сильное животное, наслаждался светом, теплом, сознательной радостью жизни и спокойной, здоровой, чувственной любовью.

Старая Мануйлиха стала после моего выздоровления так несносно брюзглива, встречала меня с такой откровенной злобой и, покамест я сидел в хате, с таким шумным ожесточением двигала горшками в печке, что мы с Олесей предпочли сходиться каждый вечер в лесу... И величественная зеленая прелесть бора, как драгоценная оправа, украшала нашу безмятежную любовь <...>.

Между тем приближалось время моего отъезда. Собственно говоря, все мои служебные обязанности в Перебрوده были уже покончены, и я умышленно оттягивал срок моего возвращения в город. Я еще ни слова не говорил об этом Олесе, боясь даже представить себе, как она примет мое извещение о необходимости уехать. Вообще я находился в затруднительном положении. Привычка пустила во мне слишком глубокие корни. Видеть ежедневно Олесю, слышать ее милый голос и звонкий смех, ощущать нежную прелесть ее ласки — стало для меня больше, чем необходимостью. В редкие дни, когда ненастье мешало нам встречаться, я чувствовал себя точно потерянным, точно лишенным чего-то самого главного, самого важного в моей жизни. Всякое занятие казалось мне скучным, лишним, и все мое существо стремилось в лес, к теплу, к свету, к милому привычному лицу Олеси.

Мысль жениться на Олесе все чаще и чаще приходила мне в голову. Сначала она лишь изредка представлялась мне, как возможный, на крайний случай, честный исход из наших отношений. Одно лишь обстоятельство пугало и останавливало меня: я не смел даже вообразить себе, какова будет Олеся, одетая в модное платье, разговаривающая в гостиной с женами моих сослуживцев, исторгнутая из этой очаровательной рамки старого леса, полного легенд и таинственных сил.

Но чем ближе подходило время моего отъезда, тем больший ужас одиночества и большая тоска овладевали мною. Решение жениться с

каждым днем крепло в моей душе, и под конец я уже перестал видеть в нем дерзкий вызов обществу. «Женятся же хорошие и ученые люди на швейках, на горничных, — утешал я себя, — и живут прекрасно и до конца дней своих благословляют судьбу, толкнувшую их на это решение. Не буду же я несчастнее других, в самом деле?»

Однажды в середине июня, под вечер, я, по обыкновению, ожидал Олесю на повороте узкой лесной тропинки между кустами цветущего боярышника. Я еще издали узнал легкий, быстрый шум ее шагов.

— Здравствуй, мой родненький, — сказала Олеся, обнимая меня и тяжело дыша. — Заждался? А я насилу-насилу вырвалась... Все с бабушкой воевала.

— До сих пор не утихла?

— Куда там! «Ты, говорит, пропадешь из-за него... Натешится он тобою вволю, да и бросит. Не любит он тебя вовсе...»

— Это она про меня так?

— Про тебя, милый... Ведь я все равно ни одному ее словечку не верю.

— А она все знает?

— Не скажу ... кажется, знает. Я с ней, впрочем, об этом ничего не говорю — сама догадывается. Ну, да что об этом думать... Пойдем.

Она сорвала ветку боярышника с пышным гнездом белых цветов и воткнула себе в волосы. Мы медленно пошли по тропинке, чуть розовевшей на вечернем солнце.

Я еще прошлой ночью решил высказаться в этот вечер. Но странная робость отяжеляла мой язык. Я думал: если я скажу Олесе о моем отъезде и о женитьбе, то поверит ли она мне? Не покажется ли ей, что я своим предложением только уменьшаю, смягчаю первую боль наносимой раны? «Вот как дойдем до того клена с ободранным стволом, так сейчас же и начну», — назначил я себе мысленно. Мы равнялись с кленом, и я, бледнея от волнения, уже переводил дыхание, чтобы начать говорить, но внезапно моя смелость ослабевала, разрешаясь нервным, болезненным биением сердца и холодом во рту. «Двадцать семь — мое феральное число, — думал я несколько минут спустя, — досчитаю до двадцати семи, и тогда!..» И я принимался считать в уме, но когда доходил до двадцати семи, то чувствовал, что решимость еще не созрела во мне. «Нет, — говорил я себе, — лучше уж буду продолжать считать до шестидесяти, — это составит как раз целую минуту, — и тогда непременно, непременно...»

— Что такое сегодня с тобой? — спросила вдруг Олеся. — Ты думаешь о чем-то неприятном. Что с тобой случилось?

Тогда я заговорил, но заговорил каким-то самому мне противным тоном, с напускной, неестественной небрежностью, точно дело шло о самом пустячном предмете.

— Действительно, есть маленькая неприятность... ты угадала, Олеся... Видишь ли, моя служба здесь окончена, и меня начальство вызывает в город.

Мельком, сбоку я взглянул на Олесю и увидел, как сбежала краска с ее лица и как задрожали ее губы. Но она не ответила мне ни слова. Несколько минут я молча шел с ней рядом. В траве громко кричали кузнечики, и откуда-то издалека доносился однообразный напряженный скрип коростеля.

— Ты, конечно, и сама понимаешь, Олеся, — опять начал я, — что мне здесь оставаться неудобно и негде, да, наконец, и службой пренебрегать нельзя...

— Нет... что же... тут и говорить нечего, — отозвалась Олеся как будто бы спокойно, но таким глухим, безжизненным голосом, что мне стало жутко. — Если служба, то, конечно... надо ехать...

Она остановилась около дерева и оперлась спиной об его ствол, вся бледная, с бессильно упавшими вдоль тела руками, с жалкой, мучительной улыбкой на губах. Ее бледность испугала меня. Я кинулся к ней и крепко сжал ее руки.

— Олеся... что с тобой? Олеся... милая!..

— Ничего... извините меня... это пройдет. Так... голова закружилась...

Она сделала над собой усилие и прошла вперед, не отнимая у меня своей руки.

— Олеся, ты теперь обо мне дурно подумала, — сказал я с упреком. — стыдно тебе! Неужели и ты думаешь, что я могу уехать, бросив тебя? Нет, моя дорогая. Я потому и начал этот разговор, что хочу сегодня же пойти к твоей бабушке и сказать ей, что ты будешь моей женой.

Совсем неожиданно для меня, Олесю почти не удивили мои слова.

— Твоей женой? — Она медленно и печально покачала головой. — Нет, Ванечка, милый, это невозможно!

— Почему же, Олеся? Почему?

— Нет, нет... Ты и сам понимаешь, что об этом смешно и думать. Ну какая я тебе жена на самом деле? Ты — барин, ты умный, образованный, а я? Я и читать не умею, куда ступить не знаю... Ты одного стыда из-за меня не оберешься...

— Это все глупости, Олеся! — возразил я горячо. — Ты через полгода сама себя не узнаешь. Ты не подозреваешь даже, сколько в тебе врожденного ума и наблюдательности. Мы с тобой вместе прочитаем много хороших книжек, познакомимся с добрыми, умными людьми, мы с тобой весь широкий свет увидим, Олеся... Мы до старости, до самой смерти будем идти рука об руку, вот как теперь идем, и не стыдиться, а гордиться тобой я буду и благодарить тебя!..

На мою пылкую речь Олеся ответила мне признательным пожатием

руки, но продолжала стоять на своем.

— Да разве это одно?.. Может быть, ты еще не знаешь?.. Я никогда не говорила тебе... Ведь у меня отца нет... Я незаконная...

— Перестань, Олеся... Это меньше всего меня останавливает. Что мне за дело до твоей родни, если ты сама для меня дороже отца и матери, дороже целого мира? Нет, все это мелочи, все это пустые отговорки!..

Олеся с тихой покорной лаской прижалась плечом к моему плечу.

— Голубчик... Лучше бы ты вообще об этом не начинал разговора... Ты молодой, свободный... Неужели у меня хватило бы духу связать тебя по рукам и по ногам на всю жизнь... Ну, а если тебе потом другая понравится? Ведь ты меня тогда возненавидишь, проклянешь тот день и час, когда я согласилась пойти за тебя. Не сердись, мой дорогой! — с мольбой воскликнула она, видя по моему лицу, что мне неприятны эти слова. — Я не хочу тебя обидеть. Я ведь только о твоём счастье думаю. Наконец ты позабыл про бабушку. Ну, посуди сам, разве хорошо будет с моей стороны ее одну оставить?

— Что ж... и бабушке у нас место найдется. (Признаться, мысль о бабушке меня сильно покорила.) А не захочет она у нас жить, так во всяком городе есть такие дома... они называются богадельнями... где таким старушкам дают покой и уход внимательный...

— Нет, что ты! Она из леса никуда не пойдет. Она людей боится.

— Ну, так ты уж сама придумывай, Олеся, как лучше. Тебе придется выбирать между мной и бабушкой. Но только знай одно — что без тебя мне и жизнь будет противна.

— Солнышко мое! — с глубокой нежностью произнесла Олеся. — Уж за одни твои слова спасибо тебе... Отогрел ты мое сердце... Но все-таки замуж я за тебя не пойду... Лучше уж я так пойду с тобой, если не прогонишь... Только не спеши, пожалуйста, не торопи меня. Дай мне денька два, я все это хорошенько обдумаю... И с бабушкой тоже нужно поговорить.

— Послушай, Олеся, — спросил я, осененный новой догадкой. — А может быть, ты опять... церкви боишься?

Пожалуй, что с этого вопроса и надо было начать. Почти ежедневно спорил я с Олесей, стараясь разубедить ее в мнимом проклятии, тяготеющем над ее родом, вместе с обладанием чародейными силами <...>.

— Ты боишься церкви, Олеся? — повторил я.

Она молча наклонила голову.

— Ты думаешь, что бог не примет тебя? — продолжал я с возрастающей горячностью. — Что у него не хватит для тебя милосердия?

<...> Поздно ночью, когда мы простились и уже разошлись на довольно большое расстояние, я вдруг услышал за собою голос Олеси:

— Ванечка! Подожди минутку... Я тебе что-то скажу!

Я повернулся и пошел к ней навстречу. Олеся поспешно подбежала ко мне. На небе уже стоял тонкий серебряный зазубренный серп молодого месяца, и при его бледном свете я увидел, что глаза Олеси полны крупных невылившихся слез.

— Олеся, о чем ты? — спросил я тревожно.

Она схватила мои руки и стала их целовать поочередно.

— Милый... какой ты хороший! Какой ты добрый! — говорила она дрожащим голосом. — Я сейчас шла и подумала: как ты меня любишь!.. И знаешь, мне ужасно хочется сделать тебе что-нибудь очень, очень приятное.

— Олеся... Девочка моя славная, успокойся...

— Послушай, скажи мне, — продолжала она, — ты бы очень был доволен, если бы я когда-нибудь пошла в церковь? Только правду, истинную правду скажи.

Я задумался. У меня вдруг мелькнула в голове суеверная мысль: а не случится ли от этого какого-нибудь несчастья?

— Что же ты молчишь? Ну, говори скорее, был бы ты этому рад или тебе все равно?

— Как тебе сказать, Олеся? — начал я с запинкой. — Ну да, пожалуй, мне это было бы приятно. Я ведь много раз говорил тебе, что мужчина может не верить, сомневаться, даже смеяться наконец. Но женщина... женщина должна быть набожна без рассуждений. В той простой и нежной доверчивости, с которой она отдает себя под защиту бога, я всегда чувствую что-то трогательное, женственное и прекрасное.

Я замолчал. Олеся тоже не отзывалась, притаившись головой около моей груди.

— А зачем ты меня об этом спросила? — любопытствовал я.

Она вдруг встрепенулась.

— Так себе... Просто спросила... Ты не обращай внимания. Ну, до свидания, милый. Приходи же завтра.

Она скрылась. Я еще долго глядел в темноту, прислушиваясь к частым, удалявшимся от меня шагам. Вдруг внезапный ужас предчувствия охватил меня. Мне неудержимо захотелось побежать вслед за Олесей, догнать ее и просить, умолять, даже требовать, если нужно, чтобы она не шла в церковь. Но я сдержал свой неожиданный порыв и даже — помню, — пускаясь в дорогу, проговорил вслух:

— Кажется, вы сами, дорогой мой Ванечка, заразились суеверием.

О, боже мой! Зачем я не послушался тогда смутного влечения сердца, которое — я теперь безусловно верю в это! — никогда не ошибается в своих быстрых тайных предчувствиях.

На другой день после этого свидания пришелся как раз праздник Св. Троицы, выпавший в этом году на день великомученика Тимофея, когда, по народным сказаниям, бывают знамения перед неурожаем. Село Переброд в церковном отношении считалось приписным, то есть в нем хотя и была своя церковь, но отдельного священника при ней не полагалось, а наезжал изредка, постом и по большим праздникам, священник села Волчьего.

Мне в этот день необходимо было съездить по служебным делам в соседнее местечко, и я отправился туда часов в восемь утра, еще по холодку, верхом. Для разъездов я давно уже купил себе небольшого жеребчика лет шести-семи, происходившего из местной неказистой породы, но очень любовно и тщательно выхотенного прежним владельцем, уездным землемером. Лошадь звали Таранчиком <...>.

Мне пришлось проезжать через все село. Большая зеленая площадь, идущая от церкви до кабака, была сплошь занята длинными рядами телег, в которых с женами и детьми приехали на праздник крестьяне окрестных деревень: Волоши, Зульни и Печаловки. Между телегами сновали люди. Утро было безветренное, душное. В воздухе парило, и день обещал быть нестерпимо жарким. На раскаленном и точно подернутом серебристой пылью небе не показывалось ни одного облачка.

<...> Невыносимо жаркий воздух, казалось, весь был насыщен отвратительным смешанным запахом лука, овчинных тулупов, испарений грязных человеческих тел. Пробираясь осторожно между людьми и с трудом удерживая мотавшего головой Таранчика, я не мог не заметить, что со всех сторон меня провожали бесцеремонные, любопытные и враждебные взгляды. Против обыкновения, ни один человек не снял шапки, но шум как будто бы утих при моем появлении. Вдруг где-то в самой середине толпы раздался пьяный, хриплый выкрик, который я, однако, ясно не расслышал, но в ответ на него раздался сдержанный хохот. Какой-то женский голос стал испуганно урезонивать горлана:

— Тише ты, дурень... Чего орешь! Услышит...

— А что мне, что услышит? — продолжал задорно мужик. — Что же он мне, начальство, что ли? Он только в лесу у своей...

Омерзительная, длинная, ужасная фраза повисла в воздухе вместе со взрывом неистового хохота. Я быстро повернул назад лошадь и судорожно сжал рукоятку нагайки, охваченный той безумной яростью, которая ничего не видит, ни о чем не думает и ничего не боится. И вдруг странная, болезненная, тоскливая мысль промелькнула у меня в голове: «Все это уже происходило когда-то, много, много лет тому назад в моей жизни... Так же горячо палило солнце... Так же была залита шумящим, возбужденным народом огромная площадь... Так же обернулся я назад в припадке

бешеного гнева... Но где это было? Когда? Когда?...» Я опустил нагайку и галопом поскакал к дому.

Ярмола, медленно вышедший из кухни, принял у меня лошадь и сказал грубо:

— Там, паныч, у вас в комнате сидит из Мариновской экономии приказчик.

Мне почудилось, что он хочет еще что-то прибавить, очень важное для меня и неприятное, мне показалось даже, что по лицу его скользнуло беглое выражение злой насмешки. Я нарочно задержался в дверях и с вызовом оглянулся на Ярмолу. Но он уже, не глядя на меня, тащил за узду лошадь, которая вытягивала вперед шею и осторожно переступала ногами.

В моей комнате я застал конторщика соседнего имения — Никиту Назарыча Мищенку. Он был в сером пиджачке с огромными рыжими клетками, в узких брючках василькового цвета и в огненно-красном галстуке, с припомаженным пробором посередине головы, весь благоухающий персидской сиренью. Увидев меня, он вскочил со стула и принялся расшаркиваться, не кланяясь, а как-то ломаясь в поясице, с улыбкой, обнажавшей бледные десны обеих челюстей.

— Имею честь кланяться, — любезно тараторил Никита Назарыч. — Очень приятно увидеться... А я уж тут жду вас с самой обедни. Давно я вас видел, даже соскучился за вами. Что это вы к нам никогда не заглянете? Наши степаньские барышни даже смеются с вас.

И вдруг, подхваченный внезапным воспоминанием, он разразился неудержимым хохотом.

— Вот, я вам скажу, потеха-то была сегодня! — воскликнул он, давясь и прыская. — Ха-ха-ха-ха... Я даже боки рвал со смеху!..

— Что такое? Что за потеха? — грубо спросил я, не скрывая своего неудовольствия.

— После обедни скандал здесь произошел, — продолжал Никита Назарыч, прерывая свою речь залпами хохота. — Перебродские дивчата... Нет, ей-богу, не выдержу... Перебродские дивчата поймали здесь на площади ведьму... То есть, конечно, они ее ведьмой считают по своей мужицкой необразованности... Ну, и задали же они ей встряску!.. Хотели дегтем вымазать, да она вывернулась как-то, утекла...

Страшная догадка блеснула у меня в уме. Я бросился к конторщику и, не помня себя от волнения, крепко вцепился рукой в его плечо.

— Что вы говорите! — закричал я неистовым голосом. — Да перестаньте же ржать, черт вас подери! Про какую ведьму вы говорите?

Он вдруг сразу перестал смеяться и выпучил на меня круглые, испуганные глаза.

— Я... я... право, не знаю-с, — растерянно залепетал он. — Кажется,

какая-то Самуйлиха... Мануйлиха... или... Позвольте... Дочка какой-то Мануйлихи?.. Тут что-то такое болтали мужики, но я, признаться, запомнил.

Я заставил его рассказать мне по порядку все, что он видел и слышал. Он говорил нелепо, несвязно, путаясь в подробностях, и я каждую минуту перебивал его нетерпеливыми расспросами и восклицаниями, почти бранью. Из его рассказа я понял очень мало и только месяца два спустя восстановил всю последовательность этого проклятого события со слов его очевидицы, жены казенного лесничего, которая в тот день также была у обедни.

Мое предчувствие не обмануло меня. Олеся переломила свою боязнь и пришла в церковь; хотя она поспела только к середине службы и стала в церковных сенях, но ее приход был тотчас же замечен всеми находившимися в церкви крестьянами. Всю службу женщины перешептывались и оглядывались назад.

Однако Олеся нашла в себе достаточно силы, чтобы дотянуть до конца обедню. Может быть, она не поняла настоящего значения этих враждебных взглядов, может быть, из гордости пренебрегла ими. Но когда она вышла из церкви, то у самой ограды ее со всех сторон обступила кучка баб, становившаяся с каждой минутой все больше и больше и все теснее сдвигавшаяся вокруг Олеси. Сначала они только молча и бесцеремонно разглядывали беспомощную, пугливо озирающуюся по сторонам девушку. Потом посыпались грубые насмешки, крепкие слова, ругательства, сопровождаемые хохотом, потом отдельные восклицания слились в общий пронзительный бабий гвалт, в котором ничего нельзя было разобрать и который еще больше взвинчивал нервы расходившейся толпы. Несколько раз Олеся пыталась пройти сквозь это живое ужасное кольцо, но ее постоянно отталкивали опять на середину. Вдруг визгливый старушечий голос заорал откуда-то позади толпы: «Дегтем ее вымазать, стерву!» (Известно, что в Малороссии мазанье дегтем даже ворот того дома, где живет девушка, сопряжено для нее с величайшим, несмываемым позором.) Почти в ту же минуту над головами беснующихся баб появилась мазница с дегтем и кистью, передаваемая из рук в руки.

Тогда Олеся, в припадке злобы, ужаса и отчаяния, бросилась на первую попавшуюся из своих мучительниц так стремительно, что сбила ее с ног. Тотчас же на земле закипела свалка, и десятки тел смешались в одну общую кричащую массу. Но Олесе прямо каким-то чудом удалось выскользнуть из этого клубка, и она опрометью побежала по дороге — без платка, с растерзанной в лохмотья одеждой, из-под которой во многих местах было видно голое тело. Вслед ей вместе с бранью, хохотом и улюлюканьем полетели камни. Однако погнались за ней только немногие, да и те сейчас же отстали... Отбежав шагов на пятьдесят, Олеся остановилась, повернула к озверевшей толпе свое бледное, исцарапанное,

окровавленное лицо и крикнула так громко, что каждое ее слово было слышно на площади:

— Хорошо же!.. Вы еще у меня вспомните это! Вы еще все наплачетесь досыта!

Эта угроза, как мне потом передавала та же очевидица события, была произнесена с такой страстной ненавистью, таким решительным, пророческим тоном, что на мгновение вся толпа как будто бы оцепенела, но только на мгновение, потому что тотчас же раздался новый взрыв брани.

Повторяю, что многие подробности этого происшествия я узнал гораздо позднее. У меня не хватило сил и терпения дослушать до конца рассказ Мищенки. Я вдруг вспомнил, что Ярмола, наверно, не успел еще расседлать лошадь, и, не сказав изумленному конторщику ни слова, поспешно вышел на двор. Ярмола действительно еще водил Таранчика вдоль забора. Я быстро взнуздal лошадь, затянул подпруги и объездом, чтобы опять не пробираться сквозь пьяную толпу, поскакал в лес.

Невозможно описать того состояния, в котором я находился в продолжение моей бешеной скачки. Добравшись до узкой тропинки, ведущей прямо к хате Мануйлихи, я слез с Таранчика, на котором по краям потника и в тех местах, где его кожа соприкасалась со сбруей, белыми комьями выступила густая пена, и повел его в поводу. От сильного дневного жара и от быстрой езды кровь шумела у меня в голове, точно нагнетаемая каким-то огромным, безостановочным насосом.

Привязав лошадь к плетню, я вошел в хату. Сначала мне показалось, что Олеси нет дома, и у меня даже в груди и во рту похолодело от страха, но спустя минуту я ее увидел, лежащую на постели, лицом к стене, с головой, спрятанной в подушки. Она даже не обернулась на шум отворяемой двери.

Мануйлиха, сидевшая тут же рядом, на земле, с трудом поднялась на ноги и замахала на меня руками.

— Тише! Не шуми ты, окаянный, — с угрозой зашептала она, подходя ко мне вплотную. И, взглянув мне прямо в глаза своими выцветшими, холодными глазами, она прошипела злобно: — Что? Доигрался, голубчик?

— Послушай, бабка, — возразил я сурово, — теперь не время считаться и выговаривать. Что с Олесей?

— Тсс... тише! Без памяти лежит Олеся, вот что с Олесей... Кабы ты не лез, куда тебе не следует, да не болтал бы чепухи девчонке, ничего бы худого не случилось. И я-то, дура петая, смотрела, потворствовала... А ведь чуюло мое сердце беду... Чуюло оно недоброе с того самого дня, когда ты чуть не силою к нам в хату ворвался. Что? Скажешь, это не ты ее подбил в церковь потащиться? — вдруг с искривленным от ненависти лицом

накинулась на меня старуха. — Не ты, барчук проклятый? Да не лги — и не верти лисьим хвостом-то, срамник! Зачем тебе понадобилось ее в церковь манить?

— Не манил я ее, бабка... Даю тебе слово в этом. Сама она захотела.

— Ах ты, горе, горе мое! — всплеснула руками Мануйлиха. — Прибежала оттуда — лица на ней нет, вся рубаха в шматки растерзана... Простоволосая... Рассказывает, как что было, а сама — то хохочет, то плачет... Ну, прямо вот, как кликуша какая... Легла в постель... все плакала, а потом, гляжу, как будто бы и задремала. Я-то, дура старая, обрадовалась было: вот, думаю, все сном пройдет, перекинется. Гляжу, рука у нее вниз свесилась, думаю: надо поправить, затекет рука-то... Тронула я ее, голубушку, за руку, а она так жаром и пышет... Значит, огневица с ней началась... С час без умолку говорила, быстро да жалостно так... Вот только-только замолчала на минуточку. Что ты наделал? Что ты наделал с ней? — с новым наплывом отчаяния воскликнула старуха.

И вдруг ее коричневое лицо собралось в чудовищную, отвратительную гримасу плача: губы растянулись и опустились по углам вниз, все личные мускулы напряглись и задрожали, брови поднялись кверху, наморщив лоб глубокими складками, а из глаз необычайно часто посыпались крупные, как горошины, слезы. Обхватив руками голову и положив локти на стол, она принялась качаться взад и вперед всем телом и завывала нараспев вполголоса:

— Дочечка моя-а-а! Внучечка миленькая-а-а!.. Ох, г-о-о-орько мне, то-о-ошно!..

— Да не реви ты, старая, — грубо прервал я Мануйлиху. — Разбудишь!

Старуха замолчала, но все с той же страшной гримасой на лице продолжала качаться взад и вперед, между тем как крупные слезы падали на стол... Так прошло минут десять. Я сидел рядом с Мануйлихой и с тоской слушал, как, однообразно и прерывисто жужжа, бьется об оконное стекло муха.

— Бабушка! — раздался вдруг слабый, чуть слышный голос Олеси. — Бабушка, кто у нас?

Мануйлиха поспешно заковыляла к кровати и тотчас же опять завывала:

— Ох, внучечка моя, ро-одная-а-а! Ох, горько мне ста-а-арой, тошно мне-е-е-е...

— Ах, бабушка, да перестань ты! — с жалобной мольбой и страданием в голосе сказала Олеся. — Кто у нас в хате сидит?

Я осторожно, на цыпочках, подошел к кровати с тем неловким, виноватым сознанием своего здоровья и своей грубости, какое всегда ощущаешь около больного.

— Это я, Олеся, — сказал я, понижая голос. — Я только что приехал верхом из деревни... А все утро я в городе был... Тебе нехорошо, Олеся?

Она, не отнимая лица от подушек, протянула назад обнаженную руку, точно ища чего-то в воздухе. Я понял это движение и взял ее горячую руку в свои руки. Два огромных синих пятна — одно над кистью, а другое повыше локтя — резко выделялись на белой, нежной коже.

— Голубчик мой, — заговорила Олеся, медленно, с трудом отделяя одно слово от другого. — Хочется мне... на тебя посмотреть... да не могу я... всю меня... изуродовали... Помнишь... тебе... мое лицо так нравилось?... Правда, ведь нравилось, родной?... И я так этому всегда радовалась... А теперь тебе противно будет... смотреть на меня... Ну, вот... я... и не хочу...

— Олеся, прости меня, — шепнул я, наклоняясь к самому ее уху.

Ее пылающая рука крепко и долго сжимала мою.

— Да что ты!.. Что ты, милый?.. Как тебе не стыдно и думать об этом? Чем же ты виноват здесь? Все я одна, глупая...

— Олеся, позволь мне... Только обещай сначала, что позволишь...

— Обещаю, голубчик... все, что ты хочешь...

— Позволь мне, пожалуйста, послать за доктором... Прошу тебя! Ну, если хочешь, ты можешь ничего не исполнять из того, что он прикажет. Но ты хоть для меня согласишься, Олеся.

— Ох, милый... В какую ты меня ловушку поймал! Нет, уж лучше ты позволь мне своего обещания не держать. Я, если бы и в самом деле была больна, при смерти бы лежала, так и то к себе доктора не подпустила бы. А теперь я разве больна? Это просто у меня от испугу так сделалось, это пройдет к вечеру. А нет — так бабушка мне ландышевой настойки даст или малины в чайнике заварит. Зачем же тут доктор? Ты — мой доктор самый лучший. Вот ты пришел, и мне сразу легче сделалось... Ах, одно мне только нехорошо: хочу поглядеть на тебя хоть одним глазком, да боюсь...

Я с нежным усилием отнял ее голову от подушки. Лицо Олеси пылало лихорадочным румянцем, темные глаза блестели неестественно ярко, сухие губы нервно вздрагивали. Длинные красные ссадины изборождали ее лоб, щеки и шею. Темные синяки были на лбу и под глазами.

— Не смотри на меня... Прошу тебя... Гадкая я теперь, — умоляюще шептала Олеся, стараясь своею ладонью закрыть мне глаза.

Сердце мое переполнилось жалостью. Я приник губами к Олесиной руке, неподвижно лежавшей на одеяле, и стал покрывать ее долгими, тихими поцелуями. Я и раньше целовал иногда ее руки, но она всегда отнимала их у меня с торопливым, застенчивым испугом. Теперь же она не противилась этой ласке и другой, свободной рукой тихо гладила меня по волосам.

— Ты все знаешь? — шепотом спросила она.

Я молча наклонил голову. Правда, я не все понял из рассказа Никиты Назарыча. Мне не хотелось только, чтобы Олеся волновалась, вспоминая об утреннем происшествии. Но вдруг при мысли об оскорблении, которому она подверглась, на меня сразу нахлынула волна неудержимой ярости.

— О! Зачем меня там не было в это время! — вскричал я, выпрямившись и сжимая кулаки. — Я бы... я бы...

— Ну, полно... полно... Не сердись, голубчик, — кротко прервала меня Олеся.

Я не мог более удерживать слез, давно давивших мне горло и жегших глаза. Припав лицом к плечу Олеси, я беззвучно и горько зарыдал, сотрясаясь всем телом.

— Ты плачешь? Ты плачешь? — В голосе ее зазвучали удивление, нежность и сострадание. — Милый мой... Да перестань же, перестань... Не мучь себя, голубчик... Ведь мне так хорошо возле тебя. Не будем же плакать, пока мы вместе. Давай хоть последние дни проведем весело, чтобы нам не так тяжело было расставаться.

Я с изумлением поднял голову. Неясное предчувствие вдруг медленно сжало мое сердце.

— Последние дни, Олеся? Почему — последние? Зачем же нам расставаться?

Олеся закрыла глаза и несколько секунд молчала.

— Нам надо проститься с тобой, Ванечка, — заговорила она решительно. — Вот как только чуть-чуть поправлюсь, сейчас же мы с бабушкой и уедем отсюда. Нельзя нам здесь оставаться больше...

— Ты боишься чего-нибудь?

— Нет, мой дорогой, ничего я не боюсь, если понадобится. Только зачем же людей в грех вводить? Ты, может быть, не знаешь... Ведь я там... в Перебрوده... погрозила со зла да со стыда... А теперь чуть что случится, сейчас на нас скажут: скот ли начнет падать, или хата у кого загорится, — все мы будем виноваты. Бабушка, — обратилась она к Мануйлихе, возвышая голос, — правду ведь я говорю?

— Чего ты говорила-то, внучечка? Не расслышала я, признаться! — прошамкала старуха, подходя поближе и приставляя к уху ладонь.

— Я говорю, что теперь, какая бы беда в Перебрوده ни случилась, все на нас с тобой свалят.

— Ох, правда, правда, Олеся, — все на нас, горемычных, свалят... Не жить нам на белом свете, изведут нас с тобой, совсем изведут, проклятики... А тогда, как меня из села выгнали... Что ж? Разве не так же было? Погрозила я... тоже вот с досады... одной дурище полосатой, а у нее — хватить — ребенок помер. То есть ни сном ни духом тут моей вины не было, а ведь меня чуть не убили, окаянные... Камнями стали шибать... Я бегу от них,

да только тебя, малолетку, все оберегаю... Ну, думаю, пусть уж мне попадет, а за что же дитю-то неповинную обижать?.. Одно слово — варвары, висельники поганые!

— Да куда же вы поедете? У вас ведь нигде ни родных, ни знакомых нет... Наконец и деньги нужны, чтобы на новом месте устроиться.

— Обойдемся как-нибудь, — небрежно проговорила Олеся. — И деньги у бабушки найдутся, припасла она кое-что.

— Ну уж и деньги тоже! — с неудовольствием возразила старуха, отходя от кровати. — Копеечки сиротские, слезами облитые...

— Олеся... А я как же? Обо мне ты и думать даже не хочешь! — воскликнул я, чувствуя, как во мне подымается горький, больной, недобрый упрек против Олеси.

Она привстала и, не стесняясь присутствием бабки, взяла руками мою голову и несколько раз подряд поцеловала меня в лоб и щеки.

— Об тебе я больше всего думаю, мой родной. Только... видишь ли... не судьба нам вместе быть... вот что!.. Помнишь, я на тебя карты бросала? Ведь все так и вышло, как они сказали тогда. Значит, не хочет судьба нашего с тобой счастья... А если бы не это, разве, ты думаешь, я чего-нибудь испугалась бы?

— Олеся, опять ты про свою судьбу? — воскликнул я нетерпеливо. — Не хочу я в нее верить... и не буду никогда верить!..

— Ох, нет, нет... не говори этого, — испуганно зашептала Олеся. — Я не за себя, за тебя боюсь, голубчик. Нет, лучше ты уж об этом и разговора не начинай совсем.

Напрасно я старался разубедить Олесю, напрасно рисовал перед ней картины безмятежного счастья, которому не помешают ни завистливая судьба, ни грубые, злые люди. Олеся только целовала мои руки и отрицательно качала головой.

— Нет... нет... нет... я знаю, я вижу, — твердила она настойчиво. — Ничего нам, кроме горя, не будет... ничего... ничего...

Растерянный, сбитый с толку этим суеверным упорством, я, наконец, спросил:

— Но ведь ты дашь мне знать о дне отъезда?

Олеся задумалась. Вдруг слабая улыбка пробежала по ее губам.

— Я тебе на это скажу маленькую сказочку... Однажды волк бежал по лесу, увидел зайчика и говорит ему: «Заяц, а заяц, ведь я тебя съем!» Заяц стал проситься: «Помилуй меня, волк, мне еще жить хочется, у меня дома детки маленькие». Волк не соглашается. Тогда заяц говорит: «Ну, дай мне хоть три дня еще на свете пожить, а потом и съешь. Все же мне легче умирать будет». Дал ему волк эти три дня, не ест его, а только все стережет. Прошел один день, прошел другой, наконец и третий кончается. «Ну, теперь

готовься, — говорит волк, — сейчас я начну тебя есть». Тут мой заяц и заплакал горючими слезами. «Ах, зачем ты мне, волк, эти три дня подарил! Лучше бы ты сразу меня съел, как только увидел. А то я все три дня не жил, а только терзался!» Милый мой, ведь зайчик-то этот правду сказал. Как ты думаешь?

Я молчал, охваченный тоскливым предчувствием близкого одиночества. Олеся вдруг поднялась и присела на постели. Лицо ее стало сразу серьезным.

— Ваня, послушай... — произнесла она с расстановкой. — Скажи мне: покамест ты был со мною, был ли ты счастлив?

— Олеся! И ты еще спрашиваешь!

Она положила обе руки мне на плечи и с невыразимой любовью поглядела в мои глаза.

— Так и знай же, мой дорогой, что никогда ты обо мне не вспомнишь дурно или со злом, — сказала она так убедительно, точно читала у меня в глазах будущее. — Как расстанемся мы с тобой, тяжело тебе в первое время будет, ох как тяжело... Плакать будешь, места себе не найдешь нигде. А потом все пройдет, все изгладится. И уж без горя ты будешь обо мне думать, а легко и радостно.

Она опять откинулась головой на подушки и прошептала ослабевшим голосом:

— А теперь поезжай, мой дорогой... Поезжай домой, голубчик... Устала я немножко. Подожди... поцелуй меня... Ты бабушки не бойся... она позволит. Позволишь ведь, бабушка?

— Да уж простишь, простишь как следует, — недовольно проворчала старуха. — Чего же передо мной таиться-то?.. Давно знаю...

— Олеся! Ты прощаешься со мною так, как будто бы мы уже не увидимся больше! — воскликнул я с испугом.

— Не знаю, не знаю, мой милый. Ничего не знаю. Ну, поезжай с богом...

Я вышел на крыльцо в сопровождении Мануйлихи. Полнеба закрыла черная туча с резкими курчавыми краями, но солнце еще светило, склоняясь к западу, и в этом смешении света и надвигающейся тьмы было что-то зловещее. Старуха посмотрела вверх, прикрыв глаза, как зонтиком, ладонью, и значительно покачала головой.

— Быть сегодня над Перебродом грозе, — сказала она убедительным тоном. — А чего доброго, даже и с градом.

Я подъезжал уже к Переброду, когда внезапный вихрь закрутил и погнал по дороге столбы пыли. Упали первые — редкие и тяжелые — капли дождя. Мануйлиха не ошиблась <...>.

Я почувствовал себя утомленным и прилег, не раздеваясь, на кровать. Я думал, что мне вовсе не удастся заснуть в эту ночь и что я до утра буду в бессильной тоске ворочаться с боку на бок, поэтому я решил лучше не снимать платья, чтобы потом хоть немного утомить себя однообразной ходьбой по комнате. Но со мной случилась очень странная вещь: мне показалось, что я только на минутку закрыл глаза; когда же я раскрыл их, то сквозь щели ставен уже тянулись длинные яркие лучи солнца, в которых кружились бесчисленные золотые пылинки.

Над моей кроватью стоял Ярмола. Его лицо выражало суровую тревогу и нетерпеливое ожидание: должно быть, он уже давно дожидался здесь моего пробуждения.

— Паныч, — сказал он своим глухим голосом, в котором слышалось беспокойство. — Паныч, треба вам отсюда уезжать...

Я свесил ноги с кровати и с изумлением поглядел на Ярмолу.

— Уезжать? Куда уезжать? Зачем? Ты, верно, с ума сошел?

— Ничего я с ума не сходил, — огрызнулся Ярмола. — Вы не чули, что вчерашний град наробил? У половины села жито как ногами потоптано. У кривого Максима, у Козла, у Мута, у Прокопчуков, у Гордия Олефира... Наслала-таки шкodu ведьмака чертова... чтоб ей сгинуть!

Мне вдруг, в одно мгновение, вспомнился весь вчерашний день, угроза, произнесенная около церкви Олесей, и ее опасения.

Нужно было немедленно предупредить ее о грозившей ей и Мануйлихе беде. Я торопливо оделся, на ходу сполоснул водою лицо и через полчаса уже ехал крупной рысью по направлению Бисова Кута.

Чем ближе подвигался я к избушке на курьих ножках, тем сильнее возрастало во мне неопределенное, тоскливое беспокойство. Я с уверенностью говорил самому себе, что сейчас меня постигнет какое-то новое, неожиданное горе.

Почти бегом пробежал я узкую тропинку, вившуюся по песчаному пригорку. Окна хаты были открыты, дверь растворена настежь.

— Господи! Что же такое случилось? — прошептал я, входя с замиранием сердца в сени.

Хата была пуста. В ней господствовал тот печальный, грязный беспорядок, который всегда остается после поспешного выезда. Кучи сора и тряпок лежали на полу да в углу стоял деревянный остов кровати...

С стесненным, переполненным слезами сердцем я хотел уже выйти из хаты, как вдруг мое внимание привлек яркий предмет, очевидно нарочно

повешенный на угол оконной рамы. Это была нитка дешевых красных бус, известных в Полесье под названием «кораллов», — единственная вещь, которая осталась мне на память об Олесе и об ее нежной, великодушной любви.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Какова основная идея повести Куприна «Олеся»?
2. Какую форму повествования выбирает автор?
3. С какой целью молодой «паньч» Иван Тимофеевич приезжает в глухую деревушку Волынской губернии?
4. Что доказывает, что Иван Тимофеевич - человек мира цивилизации?
5. Что нарушает привычную деревенскую скуку «паньча»?
6. Какие сказочные элементы используются в описании Мануйлихи?
7. Как зарождается любовь: с первого взгляда или в процессе общения? Когда к герою приходит осознание того, что он любит? Что очаровывает Ивана Тимофеевича в Олесе?
8. Почему не состоялось счастье героев? Почему они разошлись?
9. Какое несчастье грозит Олесе и её бабушке?
10. Чем жертвует Иван Тимофеевич, чтобы им помочь?
11. На какой поступок решилась Олеся, чтобы доказать свою любовь Ивану Тимофеевичу и – главное – самой себе? Что говорит Олеся о церкви?
12. Почему Олеся и Мануйлиха бегут от людей?
13. Озаглавьте каждую часть повести.
14. Расскажите основные события каждой части.

СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЕСЕНИН

(1895 — 1925)

Сергей Александрович Есенин родился в селе Константинове Рязанской области, в крестьянской семье. С малолетства воспитывался у деда — человека предприимчивого и зажиточного, знатока церковных книг. Про свое детство Сергей Есенин писал так: «С двух лет был отдан на воспитание деду по матери, у которого было трое взрослых неженатых сыновей, с которыми протекло почти все мое детство. Дядья мои были ребята озорные и отчаянные. Трех с половиной лет они посадили меня на лошадь без седла и сразу пустили в галоп. Потом меня учили плавать. Один дядя брал меня в лодку, отъезжал от берега, снимал с меня белье и, как щенка, бросал в воду. После, лет восьми, другому дяде я часто заменял охотничью собаку, плавал

по озерам за подстреленными утками. Среди мальчишек всегда был коноводом и большим драчуном и ходил всегда в царапинах. Бабушка любила меня из всей мочи, и нежности ее не было границ. Так протекло мое детство».

Когда С. Есенин подрос, то окончил четырехклассное сельское училище, затем церковно-учительскую школу. В 1912 году С. А. Есенин переехал в Москву, где служил у купца его отец. Работал в типографии. Вступил в литературный кружок. Посещал лекции в Народном университете Шанявского.

Впервые стихотворения Сергея Есенина появились в московских журналах, когда ему было 16 лет. В 1915 году он приехал в Петроград, познакомился с А. А. Блоком и другими поэтами. Есенин быстро приобрел громкую славу. Через год вышел первый сборник его стихов «Радуница».

В 1919—1921 годах Сергей Александрович Есенин много путешествовал по России, Германии, Франции, Италии, Бельгии, Канаде, США. Часто навещался в родное Константиново, никогда не прерывал с ним связи.

«Моя лирика жива одной большой любовью, любовью к родине. Чувство родины — основное в моем творчестве», — говорил С. А. Есенин. Особое место в его творчестве занимал образ русской природы («Вот уж вечер», «Белая береза», «Отговорила роща золотая...» и др.). Многие стихи С. А. Есенина стали песнями.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Расскажите о детстве С. А. Есенина.
2. Когда появились первые стихотворения С. А. Есенина? Расскажите о годах его творчества.
3. Какие темы затрагивает С. А. Есенин в своих стихотворениях?

ЗАДРЕМАЛИ ЗВЕЗДЫ ЗОЛОТЫЕ...

Задремали звезды золотые,
Задрожало зеркало затона¹,
Брежит свет на заводи¹ речные
И румянит сетку небосклона.

Улыбнулись сонные березки,
Растрепали шелковые косы.
Шелестят зеленые сережки,
И горят серебряные росы.

У плетня заросшая крапива
Обрядилась ярким перламутром
И, качаясь, шепчет шаловливо: «С добрым утром!»

¹ *Затѡн, зѡводь* — глубоко врезавшийся в берег залив со стоячей, непроточной водой.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Как поэт описывает утро нового дня?
2. С кем поэт сравнивает берёзки? Найдите слова, подтверждающие это сходство.
3. Как вы понимаете выражение «обрядилась ярким перламутром»?
4. Каким настроением проникнуто это стихотворение и какие чувства у вас оно вызывает?
5. Выучите стихотворение наизусть.

НОЧЬ

Тихо дремлет река.
Тёмный бор не шумит.
Соловей не поёт,
И дергач ¹ не кричит.

Ночь. Вокруг тишина.
Ручеёк лишь журчит.
Своим блеском луна
Всё вокруг серебрит.

Серебрится река.
Серебрится ручей.
Серебрится трава
Орошённых степей.

Ночь. Вокруг тишина.
В природе всё спит.
Своим блеском луна
Всё вокруг серебрит.

¹ *Дергач, или коростель* — небольшая птица.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. С. А. Есенин воспринимает природу как живое, одушевлённое существо. Докажите это.
2. Каким настроением проникнуто это стихотворение и какие чувства у вас оно вызывает?
3. Перед вами стихотворение поэта Ф. И. Тютчева тоже о ночи. Скажите: а каким настроением проникнуто это стихотворение и какие чувства оно вызывает?

Песок сыпучий по колени...
Мы едем — поздно — меркнет день.
И сосен, по дороге, тени
Уже в одну слилися тень.

Черней и чаще бор глубокий —
Какие грустные места!
Ночь хмурая, как зверь стокий,
Глядит из каждого куста.

4. Выучите наизусть стихотворение С. А. Есенина «Ночь».

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ЗАБОЛОЦКИЙ (1903 — 1958)

Николай Алексеевич Заболоцкий родился 7 мая 1903 г. в Казани в семье агронома. Детские годы прошли в селе Сернур Вятской губернии, недалеко от города Уржума. Дивная природа этого края оставила неизгладимый след в душе поэта.

По окончании училища в Уржуме в 1920 едет в Москву продолжать образование. Поступает в Московский университет сразу на два факультета: филологический и медицинский.

Он рано начал писать стихи, ещё в школьные годы. Много читал, посещал театр, бывал на вечерах, на которых выступали В. В. Маяковский, С. А. Есенин и другие поэты, и стремился сам стать писателем. «Надо покорять жизнь. Надо работать и бороться за самих себя. Сколько неудач ещё впереди, сколько разочарований, сомнений! Но если в такие минуты человек поколеблется — его песня спета. Вера и упорство, труд и честность...» — писал он в 1928 году.

Заболоцкий следовал этим принципам всю жизнь. Он писал поэмы, стихи, делал переводы, много писал для детей.

Стихи Заболоцкого стали классикой русской лирики: «Завещание»,

«Гроза», «Ещё заря не встала над селом...», «Я не ищу гармонии в природе...», «Ласточка», «Некрасивая девочка», «Журавли», «Уступи мне, скворец, уголок...», цикл «Последняя любовь» и др. Их отличает философская глубина; автор открывает в жизни всё новые грани и тайны, находит новые соответствия своему изменяющемуся внутреннему миру.

В своих произведениях Заболоцкий часто обращался к миру природы. Мир природы прекрасен и чист. В стихотворении «Журавли» гибель вожака стаи воспринимается как символ (знак) неизбежности смерти и такой же неизбежности восполнения жизни. Здесь — выражение мысли о вечной деятельности природы, о преемственности поколений.

Последние годы жизни он провёл в Тарусе на берегу Оки среди горячо любимой им природы, где было написано стихотворение «Не позволяй душе лениться...».

Скончался 14 октября 1958 г. в Москве; похоронен на Новодевичьем кладбище.

Н. Степанов

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Вспомните даты жизни Н. А. Заболоцкого.
2. Прочитайте вступительную статью. Что вы узнали из неё о жизни поэта?
3. Обратите внимание на выдержку из письма Заболоцкого. Постарайтесь понять те нравственные принципы, которые он выдвигает.

ЖУРАВЛИ

Вылетев из Африки в апреле
К берегам отеческой земли,
Длинным треугольником летели,
Утопая в небе, журавли.

Вытянув серебряные крылья
Через весь широкий небосвод,
Вёл вожак в долину изобилья
Свой немногочисленный народ.

Но когда под крыльями блеснуло
Озеро, прозрачное насквозь,
Чёрное зияющее дуло

Из кустов навстречу поднялось.

Луч огня ударил в сердце птичье,
Быстрый пламень вспыхнул и погас,
И частица дивного величья
С высоты обрушилась на нас.

Два крыла, как два огромных горя,
Обняли холодную волну,
И, рыданию горестному вто́ря ¹,
Журавли рванулись в вышину.

Только там, где движутся светила,
В искупленье собственного зла
Им природа снова возвратила
То, что смерть с собою унесла:

Гордый дух, высокое стремленье,
Волю непреклонную к борьбе,—
Всё, что от бывшего поколенья
Переходит, молодость, к тебе.

А вожак в рубашке из металла
Погружался медленно на дно,
И заря над ним образовала
Золотого зарева пятно.

¹ *Вто́рить* – повторять чьи-либо слова, какие-либо звуки.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Какова главная мысль этого стихотворения?
2. Какое чувство оно в вас вызывает?
3. Расскажите, что вам известно о случаях хищнического отношения к природе. К чему это может привести?
4. На уроках естествознания вы узнали о существовании Красной книги. Что это за книга?
5. Какие растения и животные внесены в Красную книгу? Назовите некоторые из них.
6. Какую проблему поднимает поэт в стихотворении «Журавли»?
7. Выучите стихотворение наизусть.

ВИКТОР ПЕТРОВИЧ АСТАФЬЕВ

(1924 — 2001)

Виктор Петрович Астафьев родился близ Красноярска в крестьянской семье. Рано потерял мать. Мальчику было семь лет, когда погибла его мать. Памяти матери он посвятит повесть «Перевал». А много позже, став уже известным писателем, скажет: «И лишь одно я просил у своей судьбы — оставить со мной маму. Её мне не хватало всю жизнь».

Около трёх лет жил у бабушки и дедушки. Затем переехал с отцом и мачехой в Игарку, убежал из дому, беспризорничал, воспитывался в детдоме. Здесь добрые, умные учителя зажгли в нём огонёк писательства.

Позднее он напишет:

«...Масса встреч, масса впечатлений, множество событий, разных, приятных и неприятных, — всё это откладывалось, где-то накапливалось потихоньку, пока не попросилось наружу».

В 1951 году он написал первый рассказ «Гражданский человек». В автобиографии В. П. Астафьев пишет:

«...Я твёрдо знаю одно — заставили писать меня книги и жизнь. Я всегда и всюду много читал, и читал порой в ущерб учебе... Начался я как литератор не в тот вечер, когда сел писать свой первый рассказ, а, видимо, тогда, когда сочинял длинные „лирические“ письма с фронта, когда в госпиталях, в пути и на привалах рассказывал о своих фронтовых товарищах, о разных случаях из своей жизни».

За все время своей деятельности Астафьев написал множество произведений. Например, романы «До будущей весны», «Тают снега», «Прокляты и убиты» (роман был удостоен премии РФ в области литературы и искусства). Среди его повестей: «Стародуб», «Слякотная осень», «Так хочется жить», «Из тихого света», «Веселый солдат», «Васюткино озеро», «Царь-рыба», «Последний поклон».

В сборник «Последний поклон» вошли автобиографические рассказы Астафьева о жизни в сибирской деревне, которые он писал для детей. За повесть «Последний поклон» Астафьев был удостоен в 1975 г. Государственной премии РСФСР имени М. Горького.

В. П. Астафьев создает произведения, которые проникнуты чувством ответственности человека за всё сущее на земле, необходимости борьбы с разрушением жизни.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Что вы узнали из вступительной статьи о жизни писателя?
2. Что, по словам самого В. П. Астафьева, заставило его писать?
3. Чему учат произведения В. П. Астафьева?

ГДЕ-ТО ГРЕМИТ ВОЙНА (Из повести «Последний поклон»)

Группу и профессию в ФЗО¹ я не выбирал — они сами меня выбрали. Всех поступивших в училище ребят и девочек выстроили возле центрального барака и приказали подравняться. Строгое начальство в железнодорожных шинелях пристально нас оглядело и тем парням, что крупнее да покрепче, велело сделать шаг вперед, сомкнуться и слушать. «Будете учиться на составителей поездов», — не то объявили, не то приказали нам, а слов о том, что идет война и Родина ждет, тоже не говорили, потому что и так все было понятно. Из того, что отобрали в составительскую группу самых могучих...

¹ ФЗО — фабрично-заводское обучение.

* * *

Мне оставалось идти верст пятнадцать. Надвигалась ночь. Ветер тронул и потянул с торосов¹ и сугробов снега. Пока он раскуделивал² их, прятал над самой дорожкой, скручивал в веретье и пошвыривал обрывки за гребешки торосов, за воротник пальто, в лицо и глаза — было не столь холодно, сколь глухо. Но когда весь снег подымет ветром да понесет?..

Ботиночки-то, чэтэзэшэчки-то, вон они, постукивают чугунно, побрякивают, попробуй выдохнись...

<...> Неподалеку от бывшей слободы, на косогоре, сорили по ветру заросли всякой пустырной растительности и невзправдашно ярко, по-детски беззаботно, многооконно светилась школа глухонемых. Меня посетила мысль: свернуть в тепло, переночевать, переждать непогоду. Но вокруг школы помигивали огоньками какие-то пристройки, подсобные помещения темнели, побрехивали³ собаки — тоже, небось, охрана? В этой школе учился нелегкой своей грамоте и столярному ремеслу мой любимый братан — Алешка.

Выросли мы с Алешкой. Набедовалась бабушка с нами. Как-то она сейчас? Плохо ей. Но ничего, вот фэзэо закончу, стану зарабатывать хорошо и возьму ее к себе. Мы с ней ладно будем жить. Равноправно. Бабушка шуметь на меня не станет. Пусть шумит. Я уж не буду огрызаться. Пусть шумит...

С думами я не заметил, как миновал место — слободу и школу глухонемых. По берегу пошли дачи, сплошняком стоявшие в сосновом и березовом лесу. Лес подступал к самой реке, и веснами его подмывало и роняло. Идешь краем берега, дачными тропами, узнаешь домики, которые были тут еще при Зыряновых, глядишь на резво играющих в мяч людей,

купающихся, гуляющих. Вечерами в рощах, как и прежде, играла музыка, от которой, как и прежде, сладко сосало сердце и чего-то хотелось: уйти куда-нибудь с кем-нибудь или заплакать.

Любопытно устроена человеческая жизнь! Всего мне семнадцать лет, восемнадцать весною стукнет, но так уже много всего было — и хорошего, и плохого.

Про галушки вот вспомнилось. Самое, пожалуй, приятное и бурное событие в моей нынешней жизни.

Галушки продавали в станционном буфете к приходу поезда. О них вызнали фэзэошники, эвакуированные и разный другой народ, обитающий на вокзале. Буфет брали штурмом. Круто посоленное клейкое хлебово из ржаной муки выпивалось через край, дно глиняных мисок вылизывалось языками до блеска. Пассажирам галушек не доставалось. Тогда в буфете стали требовать железнодорожный билет. Предъявишь билет — получишь миску галушек, два билета — две миски, три билета — три. Стоило хлебово копеек восемьдесят порция — цена неслыханная по тем временам. На копейки уже ничего не продавалось, кроме этих вот галушек и билетов в лилипутный театр, военным ветром занесенный на станцию Енисей.

¹ **Торóс** — ледяные образования самых разных и, порой, весьма причудливых форм.

² **Раскудевать** — раскидывать.

³ **Побрехивать** — здесь: лаять.

* * *

Но нюх и слух мой были еще живы, и живым, неостывшим краем сознания я уловил скрип подвод, голоса, лай собак. Недоверчиво высунув голову из твердого, каменноугольного воротника, прислушался. Порыв ветра хлестанул в лицо сыпучим, перекаленным снегом и донес слабый отголосок собачьего лая. Недовольное такое тьяканье сварливой шавки, скорее всего дачной. Дачные люди почему-то добрых собак не держат.

Я вскочил и поспешил на этот лай. Через какое-то время приостановился, напрягся.

Ничего не слышно.

И тогда я побежал, чтобы поддержать в себе тот порыв, который поднял меня из сугроба, и ту надежду, которая занялась в душе. Я уверял себя, что лай был, брехала шавка дачная, близко, рядом. Я хитрил сам с собой, обманывал самого себя и, странное дело, верил в обман, может быть, оттого, что больше мне верить не во что было.

В какой-то момент я обнаружил, что идти мне сделалось еще труднее, и не сразу уразумел, что карабкаюсь на крутизну.

Берег!

Наткнулся на крутой, подмытый берег. Мне стоит только подняться на него и...

Я сделал шаг, другой и вместе с накипевшей кромкой снега провалился в тартарары. Пальто цеплялось за какие-то выступы, ноги и руки било о твердое, в голове деревянно брякало от ударов и озарялось вспышками.

Ну вот прилетел куда-то, сверзился. Лежу в какой-то дыре. Ветра здесь нет, он шел вверху, надо мной.

Оттуда, сверху, порошился снег, хрустел на зубах. Я повернул голову туда-сюда, слева и справа, впереди и сзади было темно, какие-то стены всюду.

Что я, в могилу провалился? Замуровало меня?

Открытие это нисколько не потрясло меня, так я отупел и устал, что оттого лишь, что не было ветра и снег не хлестал в лицо, мне сделалось лучше. Я отдыхал, приходил в себя, а сверху все шуршал крупую и сыпался, сыпался снег. Сыпался пригоршнями, порциями.

Порция! Почему мне вспомнилось слово «порция»? Я собирал растрепанные мысли в кучу, пытался дать им ход. Память билась около желдоручилища: мастер Виктор Иванович Плохих, Юра Мельников, галушки в баке, греет хлеб, а не шуба. Та-ак. И мышь в свою норку тащит корку. Та-ак. Нету хлеба ни куска — в нашем тереме тоска. Та-ак. Каков ни урод, но хлеб тащит в рот...

Да у меня же в кармане хлеб! Порции! Две пайки! Вечерняя и утренняя! По двести пятьдесят граммов в каждой. Целых полкило! Батюшки светы, пропал бы и хлеб не съел!

Я сдернул рукавицу, засунул руку в карман. Вот она, пайка. Вот он, хлебушко! Уголочек хлебного кирпича. Виктор Иванович попросил отрезать горбушку — всегда кажется, горбушка больше серединки. Мастер знает — путь не близок, знает, что тетке кормить меня нечем. Мастер все знает. Мастер у нас — голова!

Я ем. Рву горбушку зубами. Жую кислый хлеб с вялой, но живой коркой и чувствую, как жизнь, было отдалившаяся от меня, снова ко мне возвращается. От хлеба, пахнущего пашней, родной землей, жестяной формой, смазанной автолом, идет она ко мне, эта жизнь, захлестнутая бурей, снегом и железом.

В одной книге я вычитал, будто жизнь пахнет розами. «Это было давно и неправда!» — так сказали бы фэзэошники-уркаганы. Такая жизнь, если она и была, так мы в нее не верим. Мы живем в тяжелое время, на трудной земле. Наша жизнь вся пропахла железом и хлебом, тяжким, трудовым хлебом, который надо добывать с боя. Мы и не знаем, где и как

они растут, розы-то. Мы видели их только в кино и на открытках. Пусть они там и растут, в кино да на открытках. Пусть там и растут.

Дороже всего на свете хлеб. Хлеб! Тот, у кого нет хлеба, этой вот кислой горбушки, не может работать и бороться. Он погибает. Он уходит в землю и превращается в червяка. Его насаживают на крючок. И клюет на него рыба. Таймень клюет, может, даже пищуженец, совсем бесполезная, срамная рыба.

— Врешь, не возьмешь! — кричал я, оживленный хлебом. У меня получилось «еш-ш-ш!». Однако ж не зря съел я хлеб. Кровь шибче пошла по жилам, голова стала соображать лучше, как говорится: которая курица ест, та и несется, а которая несется, у той и гребень красный. Надо зажечь листки от пэтээ, в которые был завернут хлеб. Зажечь, согреть руки, осмотреться.

<..> Провалился я меж двух штабелей бревен. Вроде бы ничего не переломал: ни руки, ни ноги. Может быть, потому, что штабеля эти мне известные? Лес в штабеля я возил вместе с дядей Левонтием и с моим вечным другом и мучителем Санькой, который поздней осенью ушел на фронт. Воюет Санька, а я вот загораю. Погибать взялся. Да если уж погибать, так с музыкой, ладом погибать! На войне, в бою, с народом вместе. Чтоб врагам жутко было.

И я увидел себя на коне, с саблей в одной руке, со знаменем в другой. Впереди народишко какой-то мельтешит, а я рублю, а я крошу врагов в капусту!

— Ур-р-ра-а-а! — ударил во что-то кулаком и от боли очнулся. Заснул! И во сне кино начал видеть военное. А никакого кина нет. Ветер свирепствует, гудит в штабелях.

... Стоит мне сейчас набраться сил, выбраться наверх, и совхоз Собакинский — вот он! Дома — вот они! Дело за небольшим — выбраться.

И выбрался. Не сразу, конечно. Сначала пытался подтягиваться на руках, но пальто было слишком тяжелое, силенки во мне осталось мало. Я срывался и падал, сшибая о бревна локти, колени, разбил подбородок, разорвал под мышкой пальто. В дыру сразу же проник холод, начал остро когтить грудь.

Вплавь я сумел выбиться наверх. Сначала шел меж штабелей по снегу, потом брел, когда сделалось по горло и почувствовал, что нахожусь у самого среза осыпавшегося яра, — поплыл по снегу, отталкивался ногами, гребся руками, перекатывался мешком, работал локтями, спиной, шеей, головой — всем, что еще во мне было живое.

И когда можно было встать и пойти, я все еще не верил себе, все еще барахтался в снегу, пока руки в заледенелых варежках не застучали о твердую полозницу¹. Я поскреб полозницу, заполз в желоб дороги, раскопал

темные катышки конских шевяков ², понюхал рукавицу. Она пахла назьмом³, конским живым назьмом. Кони прошли по дороге совсем недавно!..

Я стер с лица снег и увидел вблизи заплот⁴, за ним, или там, где он кончался, неяркий, деловитый огонек светился. Низко, у самой земли, рыльце окна сонно покоилось в проёме снежного сугроба — ровно бы продышал огонёк себе дырку в снегу.

Ошеломленный видением, запахом жилья, конского назьма, древесного дыма, какое-то время стоял я под ветром и боялся верить себе.

Огонек в низком окошке заморгал, сморился, померк. Он еще выбился раз-другой из серой мути, еще порябил солнечным бликом, но тут же рассеянно дрогнул и загас.

Поблазило ⁵ мне: и огонек, и запах жилья. Но в мокрый нос, в неживое мое лицо било запахом назьма, дымом било. Я заставил себя идти на запах дыма и нашел то, чего искал. Огонек внезапно оказался передо мною, все такой же приветливый, деловитый. Никто его не гасил. Просто закручивало ветром дым из трубы, бросало его куда попало, порою захлестывая окошко у земли.

«Ах ты какой! Ах ты какой!» — Обругать огонь по-крутому я боялся. Разом сделался бравый ругатель-фээзошник суеверен и страшился, что от нехорошего слова, от неосторожной мысли все может взять и исчезнуть.

Я перебирался по бревнам, в рыхлых заметах подле завалинки, не решаясь отпустить от избушки. Я искал дверь и никак сыскать ее не мог. Если бы во мне сохранилось хоть сколько-нибудь шутовства, я бы сказал: «Избушка, избушка! Повернись к лесу задом, ко мне передом!» — и сразу нашел бы дверь. Но я не только шутить, я ни говорить, ни думать не мог. Сил во мне не осталось совсем. Меня охватило томительное желание сесть возле избушки в снег, прижаться к бревнам, вдавиться в них и погрузиться в сладкое забытие. Это так славно: сесть в заветрии, закрыть глаза и верить, что тут, возле человеческого жилья, пропасть тебе не дадут.

Вот так, расслабившись, люди замерзают у самого порога, у дверей жилья. И если бы не запах дыма, что сверлил мне ноздри, густым дегтем плыл мне в горло, я стал бы карабкаться по глухой стене избушки, расчерченной снегом в пазах. Я бы плюхнулся в снег и уснул.

<...> Вот она — дверь. Вот деревянная скоба, сколотая в середине, да не могу я ее открыть. Опустившись на приступок, оплесканный водой, на пристывшую к нему солому, на втоптаный в лед голик, я царапаюсь в дверь, как пес лапою, а в щели двери несет душной теплотой — вроде бы хомутами пахнет.

— Кого там лешак принес?

Я попытался ответить, но только мычанье выбилось из мерзлых губ.

Слезы мешали словам. От дыма ли, от радости ли они катились и катились по скользким, ознобленным щекам, попадали в рот.

— Да кто там?

— Дяденька, помогите ради Христа! — сказал я, как думалось мне, громко, на самом деле промышчал какую-то невнятицу.

Со мной произошло то, что происходило со многими чалдонами⁶ прежде и теперь — в крайнюю минуту они вспоминали Спасителя, хотя во здравии и благополучии лаяли Его. На фронте не раз мне доведется увидеть и услышать, как неверующие люди в смертный миг вспомнят о Боге да о матери, а больше ни о чем.

Но нет у меня матери, и бабушка далеко.

За дверью кряхтенье, скрип нар, нудный голос:

— А-ать твою копалку! Токо-токо ноженьки успокоились, токо-токо ангелы над башкой закружились, и вот лешаки какого-то полуношника несут... И чё ходят?..

Чалдон! Доподлинный чалдон! Пока встает и обувается, уж поворчит, поругается. Но пустит. Обязательно пустит. Обогреет, ототрет, последнее отдаст. Однако ж отведет при этом душеньку, налается всласть.

Чалдон, родной, ругайся, как хочешь, сколько хочешь, но открывай! Скорее открывай! <...>

¹ *Полозница* — колея санная, след полоза.

² *Шевяк* — сухой помет домашней скотины.

³ *Назьм* — навоз.

⁴ *Заплот* — забор, деревянная сплошная ограда, из досок или бревен.

⁵ *Поблазило* — почудилось, померещилось.

⁶ *Чалдóн, челдóн, или чолдóн* — название первых русских поселенцев в Сибири и их потомков.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Кто главный герой рассказа? Каким вы его представляете? Что было самым главным в его характере? Какая внутренняя сила помогла герою преодолеть трудности?
2. Чему учит нас произведение В. П. Астафьева?

ВАСИЛИЙ МАКАРОВИЧ ШУКШИН

(1929 — 1974)

Родился 25 июля 1929 г. в селе Сростки Бийского района Алтайского края в крестьянской семье. Его отец был арестован, когда мальчику было 4 года, и реабилитирован¹ посмертно в 1956 году. Воспитывали Шукшина мать, женщина почти неграмотная, но от природы добрая и смышленная, с сильной натурой, чуткая к слову, к музыке, к песне, и отчим, погибший на фронте. От матери передались Шукшину разнообразные дарования.

В 1943 году, после окончания семилетней школы в селе, Шукшин поступил в Автомобильный техникум в Бийске. Так и не окончив его, пошел работать в колхоз в родном селе. С 1947 году работал в Калуге, Владимире, а затем проходил службу в Подмоскovie. Через некоторое время был призван в Военно-морской флот.

Первые рассказы Шукшина появились именно в армейский период. Он писал рассказы, а затем читал их своим сослуживцам. В 1953 году состояние здоровья писателя ухудшилось, и он был уволен с флота, после чего отправился в родное село Сростки. Там он экстерном получил аттестат зрелости и стал преподавать русский язык в сельской школе. Через год решил поступать во ВГИК в Москве на режиссерский факультет. Во время учебы он рассылал свои рассказы в различные журналы столицы. Так, в 1958 году в журнале «Смена» появился первый рассказ Василия Макаровича под названием «Двое на телеге».

В 1956 году писатель дебютировал в кино. Это была картина С. А. Герасимова «Тихий Дон», в которой он сыграл малый эпизод. Однако с этого эпизода и началась кинематографическая карьера Василия Шукшина. В 1964 году вышел в свет фильм «Живет такой парень» по его сценарию. Эта картина завоевала приз на Международном кинофестивале в Венеции. Одной из наиболее ярких работ писателя была киноповесть «Калина красная» (1973). В своих работах Шукшин часто противопоставляет деревенскую жизнь городской и использует колоритную разговорную речь.

Василий Макарович скоропостижно умер 2 октября 1974 г. в станице Клетской Волгоградской области на съёмках фильма «Они сражались за Родину».

Василий Макарович Шукшин прожил недолгую жизнь. Значительная ее часть ушла на скитания и «университеты жизни». Творческая жизнь Шукшина как прозаика, драматурга, актера и режиссера составила всего 20 лет.

¹ *Реабилитирован* — признан несправедливо осужденным.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Что вы знали раньше о рассказах В. М. Шукшина? Читали ли их? Видели ли вы фильм «Калина красная»? Расскажите о нём.

ЖАТВА

Год, наверное, 1942-й. (Мне, стало быть, 13 лет.) Лето, страда. Жара несусветная. И нет никакой возможности спрятаться куда-нибудь от этой жары. Рубаха на спине накалилась и, повернешься, обжигает.

Мы жнём с Сашкой Кречетовым. Сашка старше, ему лет 15-16, он сидит "на машине" – на жнейке (у нас говорили – жатка). Я – гусевым. Гусевым – это вот что: в жнейку впрягалась тройка, пара коней по бокам дышла (водила или водилины), а один, на длинной пострёмке ¹, впереди, и на нем-то в седле сидел обычно парнишка моих лет, направляя пару тягловых – и, стало быть, машину – точно по срезу жнивья.

Оглушительно, с лязгом, звонко стрекочет машина, машет добела отполированными крыльями (когда смотришь на жнейку издали, кажется, кто-то заблудился в высокой ржи и зовет руками к себе); сзади стоячей полосой остается висеть золотисто-серая пыль. Едешь, и на тебя все время наплывает сухой, горячий запах спелого зерна, соломы, нагретой травы и пыли – прошлый след, хоть давешняя золотистая полоса и осела, и сзади поднимается и остается неподвижно висеть новая.

Жара жарой, но еще смертельно хочется спать: встали чуть свет, а время к обеду. Я то и дело засыпаю в седле, и тогда не приученный к этой работе мерин сворачивает в хлеб – сбивает стеблями ржи паутов ² с ног. Сашка орет:

– Ванька, огрею!

Бичина³ у него длинный – может достать. Я потихоньку матерюсь, выравниваю коня... Но сон, чудовищный, желанный сон опять гнет меня к конской гриве, и сил моих не хватает бороться с ним.

– Ванька!.. – Сашка тоже матерится. – Я сам с сиденья валюсь! У меня у самого сейчас ⁴ кровоизлияние мозга будет! Потерпи!

– Давай хоть пять минут поспим?! – предлагаю я.

– Еще три круга – и выпрягаем.

Три огромных круга!.. А машина стрекочет и стрекочет, и размерно шагает конь, и дергает повод, и фыркает, и на голову точно масляный блин положили, и горячее масло струйками стекает под рубаху, в штаны... Там, где сидишь в седле, мокро, все остальное раскалилось, тлеет.

– А, Сань?! А то упаду под жатку, вот увидишь!

Сашку допекло тоже; он еще немного хорохорится, поет песни, потом натягивает вожжи.

– Тр-р! Пять минут, Ванька! А то застукают.

Господи, да больше и не надо! Это и так вечность. Падаю с коня, на карачках отползаю подальше в рожь – на тот случай, если кони сами тронут, то чтоб не переехало машиной – успеваю еще подумать про это... Потом горячая, пахучая земля приникла к лицу, прижалась; в ушах еще звон жнейки, но он скоро слабеет, над головой тихо прошуршали литые, медные колоски – и все. Мир звуков сомкнулся, я отбыл в мягкую, зыбучую тишину. Еще некоторое время все тело вроде слегка покачивается, как в седле, приятно гудит кровь, потом я бестелесно куда-то плыву и испытываю блаженство. Странно, я чувствую, как я сплю – сознательно, сладко сплю. Земля стремительно мчит меня на своей груди, а я – сплю, я знал это. Никогда больше в своей жизни я так не спал – так вот – целиком, вволю, через край.

Сколько мы спали, не знаю, только проснулся я вдруг, с ощущением близкой опасности; сразу как-то, как от толчка, всплыл из глубины небытия на поверхность... Кто-то кричал... Я вскочил. Нас все же застукали: сам председатель колхоза Иван Алексеич бегал по стерне за Сашкой, но так как одна нога у председателя деревянная, то догнать Сашку, конечно, он не мог, и только издали грозил плетью и ругался. Увидев меня, председатель кинулся было за мной, но я так дернул с места, что он сразу остановился.

— Контры! Вы мне ответите!.. Садитесь жать счас же!

— Отойди от жатки, тогда сядем. — Сашке, видно, попало разок председательской плетью — он почесывал спину.

— Счас же у меня садитесь! Вы што, под статью меня подвести хотите?!

— Отойди от жатки...

Председатель, ругаясь, пошел к своему легкому коробку, который стоял в стороне.

Опять заскрипела, заскрежетала жнейка, опять наладилось жечь солнце, но теперь на душе куда легче, даже весело: малость урвали.

Председатель еще постоял немного, посмотрел на нас и уехал.

Станный он был человек, Иван Алексеич, председатель. Эта нога его — это ему давно еще, молотилкой: хотел потуже вогнать сноп под барабан, и вместе со снопом туда задернуло ногу. Пока успели скинуть со шкива⁵ приводной ремень, ногу всю изодрало зубьями барабана, потом ее отняли выше колена. Мы его нисколько не боялись, нашего председателя, хоть он страшно ругался и иногда успевал жогнуть⁶ плетью. Мы не догадывались тогда, что народ мы еще довольно зеленый, всю ругались по-мужичьи, и с председателем — тоже. С нами было нелегко. Как я теперь понимаю, это

был человек добродушный, большого терпения и совестливости. Он жил с нами на пашне, сам починял веревочную сбрую, длинно матерился при этом... Иногда с силой бросал чинёную-перечинёную шлею ⁷, топтал ее здоровой ногой и плакал от злости.

В тот день председатель здорово насмешил нас.

Съехались мы поздно вечером к бригадному дому, расселись кто где хлебать затируху (мелкие кусочки теста, крошки, сваренные в воде). Потом должно было быть собрание: у председателя много накопилось фактов нашего безобразного поведения: кто-то еще, кроме нас с Сашкой, спал на полосе, кто-то накануне, вечером, самовольно бегал домой в баню, кто-то, дожав клин, гонялся с бичом за перепелками — терял драгоценное время...

Председатель, пока мы ужинали, застелил красным сукном длинный стол под навесом, сидел один за столом, строго поглядывал в нашу сторону — ждал: предстояла «накачка».

Мы ополоснули чашки, закурили и приготавились слушать.

— Сегодня четыре оглоеда, — начал председатель, — спали на полосе. Это: Санька Кречетов, Илюха Чумазый, Ванька Попов и Васька-безотцовщина. Вы што, соображаете?! А этот верзила... Колька, я про тебя! — в баньку ему, вишь, захотелось!

(Колька, Моисеев внук, поймал у меня вчера на рубахе вшу и подговаривал вместе бежать вечером в деревню в баню, а к свету вернуться. Я отказался.)

— Попариться ему, вишь, захотелось, жеребцу! Дубина такая... Ты всю ночь-то пробегаешь туда-сюда, а днем — спать на полосе!

— Я не спал.

— Я посплю вам! Я вам посплю, дьяволы! Вы у меня ишо скирдовать ⁸ в ночь будете.

Далеко, за лесом, медленно опускается в синие дымы большое красное солнце; хорошо на земле, задумчиво, покойно. Под председательским столом, свернувшись калачиком, мирно спит Борзя, наш бесконечно добрый, шалавый⁹ кобель.

Председатель никак не может разозлиться, вяло у него получается — никакого интереса. Мы клюем носами.

— Дальше: што это за моду взяли — перепелок стегать?! Живодеры... Первое: они всяких личинок уничтожают... Да время же теряете, черти! Пока ты ее догонишь да угодишь бичом — времени-то сколько уходит! Дальше: Ленька-японец наехал, сукин сын, на пенек, порвал пилу. Оглазел?! Скину вот трудодней пятнадцать, будешь вперед смотреть! Ехай счас прямо в кузню — штоб завтра, как только дед Макар проснется, пилу мне склепали ¹⁰.

Ленька-японец радешенек: дома побудет. Везет недомерку! Не

нарочно ли на пень-то наехал? Но он хитрый, радости не показывает, а виновато хмурится.

— Дальше: еслив ишо кого увижу...

Тут-то нанесло неожиданного: на дороге, из-за взгорка, показались дрожки уполномоченного — мы хорошо знали его жеребца. К нам едет.

Эх, как вскочил тут наш председатель (он ужасно боялся уполномоченного), да как застучал кулаком по столу, как закричал:

— Я давно уж замечаю среди вас контр... контр...

А деревяшкой своей председатель наступил Борзе на хвост; Борзя взвыл блажным голосом. Председателю надо перекричать собаку, он кричит:

— Давно уж я замечаю среди вас контрреволюционные элементы!

Собака воет, крутится под столом; председатель почему-то не может сойти с нее — то ли от волнения, то ли... Бог его знает. Добрый Борзя начал кусать деревяшку; мы корчимся от смеха: до того уморительная картина. (Потом, когда мы вспоминали эту историю, Ленька-японец сознался, что у него случилась тогда посикота — написал в штаны от смеха.)

Уполномоченный подъехал. Глядит на нас, ничего не может понять. Председатель быстро пошел навстречу ему. Ошалевший Борзя с визгом вылетел из-под стола, кинулся бежать... Да прямо в ноги райкомовскому жеребцу. Красавец жеребец дико всхрапнул, дал в дыбы — чуть из хомута не вылез. Уполномоченный выскочил из коробка; председатель поскакал было на деревяшке за Борзей, потом вернулся, стал успокаивать жеребца.

Мы все лежали вповал. Мы тоже побаивались уполномоченного, но тут ничего не могли с собой сделать — умирали от смеха.

— В чем дело?! — строго спросил уполномоченный.

— Это... собрание у нас — насчет итогов, — пояснил Иван Алексеич. — С собакой маленько комедия вышла... — И закричал на нас: — Завтра же убрать этого блохастого!..

— Я вижу, что комедия, а не собрание. Может, рано веселиться-то?! — спросил у нас уполномоченный. — Может, наоборот, плакать надо?!

Мы постепенно затихли. Вот теперь, кажется, будет «накачка» настоящая. Но уполномоченный почему-то отменил собрание. Неожиданно добрым голосом сказал:

— Ладно: поработали, посмеялись — идите спать.

Спали мы в доме на нарах. Долго еще не могли успокоиться в тот вечер, вспоминали Борзю, Ивана Алексеича, хохотали в подушки. Иван Алексеич беседовал у огонька с уполномоченным... Раза два он входил к нам и сердито шипел:

— Вы будете спать? Опять завтра не добудисься!.. Оглоеды. Хоть бы человека постеснялись.

Потом уполномоченный уехал.

Мы один за другим проваливаемся в сон...

Когда я — позже других, последним, наверно, — выхожу до ветра, уже светит луна и где-то близко вскрикивает ночная птица.

Председатель сидит у костра, тихонько звякает ложкой об алюминиевую чашку — хлебает затируху. Протез его отстегнут, лежит рядом... Худая култышка как-то неестественно белеет на траве. Иван Алексеевич часто склоняется и дует на нее — видно, до боли натрудил за день, теперь она, горячая, отдыхает.

А вокруг тепло и ясно; кто-то высоко-высоко золотыми гвоздями пришил к небу голубое полотно, и сквозь него сквозит, льется нескончаемым потоком чистый, голубовато-белый легкий свет.

И все вскрикивает в согре ¹¹ какая-то ночная птица — зовет, что ли, кого?

¹ **Пострѳмка** — толстый ремень, идущий от хомута к вальку у пристяжных или у запряженных в дышло лошадей.

² **Паўт** — насекомое (областное название овода).

³ **Бичїна** — насекомое (областное название овода).

⁴ **Счас** — здесь: сейчас.

⁵ **Шкїв** — приводное колесо для передачи или получения крутящего момента от приводного ремня.

⁶ **Жогнўть** — здесь: ударить.

⁷ **Шлея** — часть конской упряжи, охватывающая всю длину лошади.

⁸ **Скирдовїть** — укладывать снопы в скирды.

⁹ **Шалавый** — взбалмошный, безрассудный, шальной.

¹⁰ **Склепїть** — соединить, скрепить клепкой.

¹¹ **Сѳгра** — заболоченная местность, поросшая кустарником или мелким лесом.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Где и когда происходит действие в рассказе В. М. Шукшина «Жатва»?
2. Кем являются герои произведений В. М. Шукшина?
3. Какова основная мысль рассказа «Жатва»?

СОВРЕМЕННЫЕ ПИСАТЕЛИ

Русская литература известна, в первую очередь, своими классиками «Золотого» и «Серебряного» веков. Однако и современная русская проза представляет большой интерес. Как и литература прошлых веков, она поднимает вопросы, актуальные для авторов и их современников. Конец 20 и начало 21 века серьезно изменили жизнь людей и общество в целом. Это время стремительного научного прогресса и страшных катастроф, время побед и поражений.

ВАЛЕНТИН ГРИГОРЬЕВИЧ РАСПУТИН

(1937 — 2015)

Валентин Григорьевич Распутин – русский писатель, прозаик, представитель так называемой «деревенской прозы», а также Герой Социалистического Труда. Распутин родился 15 марта 1937 года в крестьянской семье в селе Аталанка (Иркутская область). Его детство прошло в селе, где он ходил в начальную школу. Продолжил обучение в 50 км от дома, где была ближайшая средняя школа. Об этом периоде обучения он позже написал рассказ «Уроки французского».

Окончив школу, будущий писатель поступил на историко-филологический факультет Иркутского университета. Будучи студентом, работал внештатным корреспондентом в университетской газете. Один из его очерков «Я забыл спросить у Лёшки» обратил на себя внимание редактора. Эта же работа была позже опубликована в литературном журнале «Сибирь». После университета писатель несколько лет проработал в газетах Иркутска и Красноярска. В 1965 году с его работами ознакомился В. А. Чивилихин. Этого писателя начинающий прозаик считал своим наставником. Из классиков особенно ценил Бунина и Достоевского.

С 1966 года Валентин Григорьевич стал профессиональным литератором, а через год был зачислен в Союз писателей СССР. В тот же период в Иркутске вышла в свет первая книга писателя «Край возле самого себя». Затем последовала книга «Человек с этого света» и повесть «Деньги для Марии», которую в 1968 опубликовало московское издательство «Молодая гвардия». Зрелость и самобытность автора проявилась в повести «Последний срок» (1970). Большой интерес у читателя вызвала повесть «Пожар» (1985).

В последние годы жизни больше занимался общественной деятельностью, но не отрываясь при этом и от литераторства. Так, в 2004 году была опубликована его книга «Дочь Ивана, мать Ивана». Спустя два

года третье издание очерков «Сибирь, Сибирь». В родном городе писателя его произведения входят в школьную программу по внеклассному чтению.

Умер 14 марта 2015 года в Москве, похоронен в Знаменском монастыре в Иркутске.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Что вы узнали из вступительной статьи о жизни писателя? Расскажите.

Из истории создания рассказа «Уроки французского»

«...Рассказ, героиней которого стала Лидия Михайловна, я посвятил другой учительнице — Анастасии Прокопьевне Копыловой...

Рассказ «Уроки французского» был впервые опубликован в 1973 году в нашей иркутской комсомольской газете «Советская молодежь» в номере, посвященном памяти Александра Вампилова (русский драматург). Анастасия Прокопьевна — его мать. Глядя в лицо этой удивительной женщины, не старевшей, доброй и мудрой, не раз вспоминал я и свою учительницу и знал, что детям было хорошо и с той и с другой».

В. Г. Распутин

УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО

*Анастасии Прокопьевне
Копыловой*

Странно: почему мы так же, как и перед родителями, всякий раз чувствуем свою вину перед учителями? И не за то вовсе, что было в школе, — нет, а за то, что случилось с нами после.

* * *

Я пошел в пятый класс в сорок восьмом году. Правильней сказать, поехал: у нас в деревне была только начальная школа, поэтому, чтобы учиться дальше, мне пришлось снаряжаться из дому за пятьдесят километров в райцентр. За неделю раньше туда съездила мать, уговорилась со своей знакомой, что я буду квартировать у нее, а в последний день августа дядя Ваня, шофер единственной в колхозе полуторки, выгрузил меня на улице Подкаменной, где мне предстояло жить, помог занести в дом узел с постелью, ободряюще похлопал на прощанье по плечу и укатил. Так,

в одиннадцать лет, началась моя самостоятельная жизнь.

Голод в тот год еще не отпустил, а нас у матери было трое, я самый старший. Весной, когда пришлось особенно туго, я глотал сам и заставлял глотать сестренку глазки проросшей картошки и зерен овса и ржи, чтобы развести посадки в животе, — тогда не придется все время думать о еде. Все лето мы старательно поливали свои семена чистой ангарской водичкой, но урожая почему-то не дождался или он был настолько мал, что мы его не почувствовали. Впрочем, я думаю, что затея эта не совсем бесполезная и человеку когда-нибудь еще пригодится, а мы по неопытности что-то там делали неверно.

Трудно сказать, как решилась мать отпустить меня в район (райцентр у нас называли районом). Жили мы без отца, жили совсем плохо, и она, видно, рассудила, что хуже уже не будет — некуда. Учился я хорошо, в школу ходил с удовольствием и в деревне признавался за грамотея: писал за старух и читал письма, перебрал все книжки, которые оказались в нашей неказистой библиотеке, и по вечерам рассказывал из них ребятам всякие истории, больше того добавляя от себя. Но особенно в меня верили, когда дело касалось облигаций. Их за войну у людей скопилось много, таблицы выигрышей приходили часто, и тогда облигации несли ко мне. Считалось, что у меня счастливый глаз. Выигрыши и правда случались, чаще всего мелкие, но колхозник в те годы рад был любой копейке, а тут из моих рук сваливалась и совсем нечаянная удача. Радость от нее несколько перепадала и мне. Меня выделяли из деревенской ребятни, даже подкармливали: однажды дядя Илья, в общем-то скупой, прижимистый старик, выиграв четыреста рублей, сгоряча нагреб мне ведро картошки — под весну это было немалое богатство.

И все потому же, что я разбирался в номерах облигаций, матери говорили:

— Башковитый у тебя парень растет. Ты это... давай учи его. Грамота зря не пропадет.

И мать, наперекор всем несчастьям, собрала меня, хотя до того никто из нашей деревни в районе не учился. Я был первый. Да я и не понимал как следует, что мне предстоит, какие испытания ждут меня, голубчика, на новом месте.

Учился я и тут хорошо. Что мне оставалось? — Затем я сюда и приехал, другого дела у меня здесь не было, а относиться спустя рукава к тому, что на меня возлагалось, я тогда еще не умел. Едва ли осмелился бы я пойти в школу, останься у меня невыученным хоть один урок, поэтому по всем предметам, кроме французского, у меня держались пятерки.

С французским у меня не ладилось из-за произношения. Я легко запоминал слова и обороты, быстро переводил, прекрасно справлялся с

трудностями правописания, но произношение с головой выдавало все мое ангарское происхождение вплоть до последнего колена, где никто сроду не выговаривал иностранных слов, если вообще подозревал об их существовании. Я шпарил по-французски на манер наших деревенских скороговорок, половину звуков за ненадобностью проглатывая, а вторую половину выпаливал короткими лающими очередями. Лидия Михайловна, учительница французского, слушая меня, бессильно морщилась и закрывала глаза. Ничего подобного она, конечно, не слыхивала. Снова и снова она показывала, как произносятся носовые, сочетания гласных, просила повторять, — я терялся, язык у меня во рту деревенел и не двигался. Все было впустую. Но самое страшное начиналось, когда я приходил из школы. Там я невольно отвлекался, все время вынужден был что-то делать, там меня тормозили ребята, вместе с ними — хочешь не хочешь — приходилось двигаться, играть, а на уроках — работать. Но едва я оставался один, сразу наваливалась тоска — тоска по дому, по деревне. Никогда раньше даже на день я не отлучался из семьи и, конечно, не был готов к тому, чтобы жить среди чужих людей. Так мне было плохо, так горько и постыло! — хуже всякой болезни. Хотелось только одного, мечталось об одном — домой и домой. Я сильно похудел: мать, приехавшая в конце сентября, испугалась за меня. При ней я крепился, не жаловался и не плакал, но когда она стала уезжать, не выдержал и с ревом погнался за машиной. Мать махала мне рукой из кузова, чтобы я отстал, не позорил себя и ее, — я ничего не понимал. Тогда она решилась и остановила машину.

— Собирайся, — потребовала она, когда я подошел. — Хватит, отучился, поедем домой.

Я опомнился и убежал.

Но похудел я не только из-за тоски по дому. К тому же еще я постоянно недоедал. Осенью, пока дядя Ваня возил на своей полуторке хлеб в Заготзерно, стоявшее неподалеку от райцентра, еду мне посылали довольно часто, примерно раз в неделю. Но вся беда в том, что мне ее не хватало. Ничего там не было, кроме хлеба и картошки, изредка мать набивала в баночку творогу, который у кого-то под что-то брала: корову она не держала. Привезут — кажется, много,хватишься через два дня — пусто. Я очень скоро стал замечать, что добрая половина моего хлеба куда-то самым таинственным образом исчезает. Проверил — так и есть: был — нету. То же самое творилось с картошкой. Кто потаскивал — тетя Надя ли, крикливая, замотанная женщина, которая одна мыкалась с тремя ребяташками, кто-то из ее старших девчонок или младший, Федька, — я не знал, я боялся даже думать об этом, не то что следить. Обидно было только, что мать ради меня отрывает последнее от своих, от сестренки с братишкой, а оно все равно идет мимо. Но я заставил себя смириться и с этим. Легче

матери не станет, если она услышит правду.

Голод здесь совсем не походил на голод в деревне. Там всегда, и особенно осенью, можно было что-то перехватить, сорвать, выкопать, поднять, в Ангаре ходила рыба, в лесу летала птица. Тут для меня все вокруг было пусто: чужие люди, чужие огороды, чужая земля. Небольшую речушку на десять рядов процеживали бреднями. Я как-то в воскресенье просидел с удочкой весь день и поймал трех маленьких, с чайную ложку, пескариков — от такой рыбалки тоже не раздобреешь. Больше не ходил — что зря время переводить! По вечерам околачивался у чайной, на базаре, запоминая, что почем продают, давился слюной и шел ни с чем обратно. На плите у тети Нади стоял горячий чайник; пошвырвав гольного кипяточку и согрев желудок, ложился спать. Утром опять в школу. Так и дотягивал до того счастливого часа, когда к воротам подъезжала полуторка и в дверь стучал дядя Ваня. Наголодавшись и зная, что харч мой все равно долго не продержится, как бы я его ни экономил, я наедался до отвала, до рези в животе, а затем, через день или два, снова подсаживал зубы на полку.

* * *

Однажды, еще в сентябре, Федька спросил у меня:

— Ты в «чику» играть не боишься?

— В какую «чику»? — не понял я.

— Игра такая. На деньги. Если деньги есть, пойдем сыграем.

— Нету.

— И у меня нету. Пойдем так, хоть посмотрим. Увидишь, как здорово.

Федька повел меня за огороды. Мы прошли по краю продолговатого, грядой, холма, сплошь заросшего крапивой, уже черной, спутанной, с отвисшими ядовитыми гроздьями семян, перебрались, прыгая по кучам, через старую свалку и в низинке, на чистой и ровной небольшой поляне, увидели ребят. Мы подошли. Ребята насторожились. Все они были примерно тех же лет, что и я, кроме одного — рослого и крепкого, заметного своей силой и властью, парня с длинной рыжей челкой. Я вспомнил: он ходил в седьмой класс.

— Этого еще зачем привел? — недовольно сказал он Федьке.

— Он свой, Вадик, свой, — стал оправдываться Федька. — Он у нас живет.

— Играть будешь? — спросил меня Вадик.

— Денег нету.

— Гляди, не вякни кому, что мы здесь.

— Вот еще! — обиделся я.

Больше на меня не обращали внимания, я отошел в сторонку и стал наблюдать. Играли не все — то шестеро, то семеро, остальные только

глазели, болея, в основном, за Вадика. Хозяйничал здесь он, это я понял сразу.

Разобраться в игре ничего не стоило. Каждый выкладывал на кон по десять копеек, стопку монет решками вверх опускали на площадку, ограниченную жирной чертой метрах в двух от кассы, а с другой стороны, от валуна, вросшего в землю и служившего упором для передней ноги, бросали круглую каменную шайбу. Бросать ее надо было с тем расчетом, чтобы она как можно ближе подкатилась к черте, но не вышла за нее, — тогда ты получал право первым разбивать кассу. Били все той же шайбой, стараясь перевернуть монеты на орла. Перевернул — твоя, бей дальше, нет — отдай это право следующему. Но важней всего считалось еще при броске накрыть шайбой монеты, и если хоть одна из них оказывалась на орле, вся касса без разговоров переходила в твой карман, и игра начиналась снова.

Вадик хитрил. Он шел к валуну после всех, когда полная картина очередности была у него перед глазами и он видел, куда бросать, чтобы выйти вперед. Деньги доставались первым, до последних они доходили редко. Наверное, все понимали, что Вадик хитрит, но сказать ему об этом никто не смел. Правда, и играл он хорошо. Подходя к камню, чуть приседал, прищурившись, наводил шайбу на цель и неторопливо, плавно выпрямлялся — шайба выскользнула из его руки и летела туда, куда он метил. Быстрым движением головы он забрасывал съехавшую челку наверх, небрежно сплевывал в сторону, показывая, что дело сделано, и ленивым, нарочито замедленным шагом ступал к деньгам. Если они были в куче, бил резко, со звоном, одиночные же монетки трогал шайбой осторожно, с накатиком, чтобы монетка не билась и не крутилась в воздухе, а, не поднимаясь высоко, всего лишь переваливалась на другую сторону. Никто больше так не умел. Ребята лупили наобум и доставали новые монеты, а кому нечего было доставать, переходили в зрители.

Мне казалось, что, будь у меня деньги, я бы смог играть. В деревне мы возились с бабками, но и там нужен точный глаз. А я, кроме того, любил придумывать для себя забавы на меткость: наберу горсть камней, отыщу цель потруднее и бросаю в нее до тех пор, пока не добьюсь полного результата — десять из десяти. Бросал и сверху, из-за плеча, и снизу, навешивая камень над целью. Так что кой-какая сноровка у меня была. Не было денег.

Мать потому и отправляла мне хлеб, что денег у нас не водилось, иначе я покупал бы его и здесь. Откуда им в колхозе взяться? Все же раза два она подкладывала мне в письмо по пятерке — на молоко. На теперешние это пятьдесят копеек, не разживешься, но все равно деньги, на них на базаре можно было купить пять пол-литровых баночек молока, по рублю за баночку. Молоко мне наказано пить от малокровия, у меня часто

ни с того ни с сего принималась вдруг кружиться голова.

Но, получив пятерку в третий раз, я не пошел за молоком, а разменял ее на мелочь и отправился на свалку. Место здесь было выбрано с толком, ничего не скажешь: полянка, замкнутая холмами, ниоткуда не просматривалась. В селе, на виду у взрослых, за такие игры гоняли, грозили директором и милицией. Тут нам никто не мешал. И недалеко, за десять минут добежишь.

В первый раз я спустил девяносто копеек, во второй — шестьдесят. Денег было, конечно, жалко, но я чувствовал, что приноравливаюсь к игре, рука постепенно привыкала к шайбе, училась отпускать для броска ровно столько силы, сколько требовалось, чтобы шайба прошла верно, глаза тоже учились заранее знать, куда она упадет и сколько еще прокатится по земле. По вечерам, когда все расходились, я снова возвращался сюда, доставал из-под камня спрятанную Вадиком шайбу, выгребал из кармана свою мелочь и бросал, пока не темнело. Я добился того, что из десяти бросков три или четыре угадывали точно на деньги.

И наконец наступил день, когда я остался в выигрыше.

Осень стояла теплая и сухая. Еще и в октябре пригревало так, что можно было ходить в рубашке, дожди выпадали редко и казались случайными, ненароком занесенными откуда-то из непогоды слабым попутным ветерком. Небо синело совсем по-летнему, но стало словно бы уже, и солнце заходило рано. Над холмами в чистые часы курился воздух, разнося горьковатый, дурманящий запах сухой полыни, ясно звучали дальние голоса, кричали отлетающие птицы. Трава на нашей полянке, пожелтевшая и сморенная, все же осталась живой и мягкой, на ней возились свободные от игры, а лучше сказать, проигравшиеся ребята.

Теперь каждый день после школы я прибежал сюда. Ребята менялись, появлялись новички, и только Вадик не пропускал ни одной игры. Она без него и не начиналась. За Вадиком, как тень, следовал большеголовый, стриженный под машинку, коренастый парень, по прозвищу Птаха. В школе я Птаху до этого не встречал, но, забегая вперед, скажу, что в третьей четверти он вдруг, как снег на голову, свалился на наш класс. Оказывается, остался в пятом на второй год и под каким-то предлогом устроил себе до января каникулы. Птаха тоже обычно выигрывал, хоть и не так, как Вадик, поменьше, но в убытке не оставался. Да потому, наверно, и не оставался, что был заодно с Вадиком и тот ему потихоньку помогал.

Из нашего класса на полянку иногда набегал Тишкин, суетливый, с моргающими глазенками мальчишка, любивший на уроках поднимать руку. Знает, не знает — все равно тянет. Вызовут — молчит.

— Что ж ты руку поднимал? — спрашивают Тишкина.

Он шлепал своими глазенками:

— Я помнил, а пока вставал, забыл.

Я с ним не дружил. От робости, молчаливости, излишней деревенской замкнутости, а главное — от дикой тоски по дому, не оставлявшей во мне никаких желаний, ни с кем из ребят я тогда еще не сошелся. Их ко мне тоже не тянуло, я оставался один, не понимая и не выделяя из горького своего положения одиночества: один — потому что здесь, а не дома, не в деревне, там у меня товарищей много.

Тишкин, казалось, и не замечал меня на полянке. Быстро проигравшись, он исчезал и появлялся снова не скоро.

А я выигрывал. Я стал выигрывать постоянно, каждый день. У меня был свой расчет: не надо катать шайбу по площадке, добываясь права на первый удар; когда много играющих, это не просто: чем ближе тянешься к черте, тем больше опасности перевалить за нее и остаться последним. Надо накрывать кассу при броске. Так я и делал. Конечно, я рисковал, но при моей сноровке это был оправданный риск. Я мог проиграть три, четыре раза подряд, зато на пятый, забрав кассу, возвращал свой проигрыш втрое. Снова проигрывал и снова возвращал. Мне редко приходилось стучать шайбой по монетам, но и тут я пользовался своим приемом: если Вадик бил с накатом на себя, я, наоборот, тюкал от себя — так было непривычно, но так шайба придерживала монету, не давала ей вертеться и, отходя, переворачивала вслед за собой.

Теперь у меня появились деньги. Я не позволял себе чересчур увлекаться игрой и торчать на полянке до вечера, мне нужен был только рубль, каждый день по рублю. Получив его, я убегал, покупал на базаре баночку молока (тетки ворчали, глядя на мои погнутые, побитые, истерзанные монеты, но молоко наливали), обедал и садился за уроки. Досыта все равно я не наедался, но уже одна мысль, что я пью молоко, прибавляла мне силы и смиряла голод. Мне стало казаться, что и голова теперь у меня кружится гораздо меньше.

Поначалу Вадик спокойно относился к моим выигрышам. Он и сам не оставался в накладке, а из его карманов вряд ли мне что-нибудь перепало. Иногда он даже похваливал меня: вот, мол, как надо бросать, учись, мазилы. Однако вскоре Вадик заметил, что я слишком быстро выхожу из игры, и однажды остановил меня:

— Ты что это — загреб кассу и драть? Ишь шустрый какой! Играй.

— Мне уроки надо, Вадик, делать, — стал отговариваться я.

— Кому надо делать уроки, тот сюда не ходит.

А Птаха подпел:

— Кто тебе сказал, что так играют на деньги? За это, хочешь знать, бьют маленько. Понял?

Больше Вадик не давал мне шайбу раньше себя и подпускал к камню

только последним. Он хорошо бросал, и нередко я лез в карман за новой монетой, не прикоснувшись к шайбе. Но я бросал лучше, и если уж мне доставалась возможность бросать, шайба, как намагниченная, летела точно на деньги. Я и сам удивлялся своей меткости, мне надо бы догадаться придержать ее, играть незаметней, а я бесхитростно и безжалостно продолжал бомбить кассу. Откуда мне было знать, что никогда и никому еще не прощалось, если в своем деле он вырывается вперед? Не жди тогда пощады, не ищи заступничества, для других он выскочка, и больше всех ненавидит его тот, кто идет за ним следом. Эту науку мне пришлось в ту осень постигнуть на собственной шкуре.

Я только что опять угодил в деньги и шел собирать их, когда заметил, что Вадик наступил ногой на одну из рассыпавшихся по сторонам монет. Все остальные лежали вверх решками. В таких случаях при броске обычно кричат «в склад!», чтобы — если не окажется орла — собрать для удара деньги в одну кучу, но я, как всегда, понадеялся на удачу и не крикнул.

— Не в склад! — объявил Вадик.

Я подошел к нему и попытался сдвинуть его ногу с монеты, но он оттолкнул меня, быстро схватил ее с земли и показал мне решку. Я успел заметить, что монета была на орле, — иначе он не стал бы ее закрывать.

— Ты перевернул ее, — сказал я. — Она была на орле, я видел.

Он сунул мне под нос кулак.

— А этого ты не видел? Понюхай, чем пахнет.

Мне пришлось смириться. Настаивать на своем было бессмысленно: если начнется драка, никто, ни одна душа за меня не заступится, даже Тишкин, который вертелся тут же.

Злые, прищуренные глаза Вадика смотрели на меня в упор. Я нагнулся, тихонько ударил по ближней монете, перевернул ее и подвинул вторую. «Хлюзда на правду наведет, — решил я. — Все равно я их сейчас все заберу». Снова наставил шайбу для удара, но опустить уже не успел: кто-то вдруг сильно поддал мне сзади коленом, и я неловко, склоненной вниз головой, ткнулся в землю. Вокруг засмеялись.

За мной, ожидающе улыбаясь, стоял Птаха. Я опешил:

— Чего-о ты?!

— Кто тебе сказал, что это я? — отперся он. — Приснилось, что ли?

— Давай сюда! — Вадик протянул руку за шайбой, но я не отдал ее. Обида перехлестнула во мне страх, ничего на свете я больше не боялся. За что? За что они так со мной? Что я им сделал?

— Давай сюда! — потребовал Вадик.

— Ты перевернул ту монетку! — крикнул я ему. — Я видел, что перевернул. Видел.

— Ну-ка повтори, — надвигаясь на меня, попросил он.

— Ты перевернул ее, — уже тише сказал я, хорошо зная, что за этим последует.

Первым, опять сзади, меня ударил Птаха. Я полетел на Вадика, он быстро и ловко, не примериваясь, поддел меня головой в лицо, и я упал, из носу у меня брызнула кровь. Едва я вскочил, на меня снова набросился Птаха. Можно было еще вырваться и убежать, но я почему-то не подумал об этом. Я вертелся меж Вадиком и Птахой, почти не защищаясь, зажимая ладонью нос, из которого хлестала кровь, и в отчаянии, добавляя им ярости, упрямо выкрикивая одно и то же:

— Перевернул! Перевернул! Перевернул!

Они били меня по очереди, один и второй, один и второй. Кто-то третий, маленький и злобный, пинал меня по ногам, потом они почти сплошь покрылись синяками. Я старался только не упасть, ни за что больше не упасть, даже в те минуты мне казалось это позором. Но в конце концов они повалили меня на землю и остановились.

— Иди отсюда, пока живой! — скомандовал Вадик. — Быстро!

Я поднялся и, всхлипывая, швыряя омертвевшим носом, поплелся в гору.

— Только вякни кому — убьем! — пообещал мне вслед Вадик.

Я не ответил. Все во мне как-то затвердело и сомкнулось в обиде, у меня не было сил достать из себя слово. И только поднявшись на гору, я не утерпел и, словно сдурев, закричал что было мочи — так что слышал, наверное, весь поселок:

— Переверну-у-ул!

За мной кинулся было Птаха, но сразу вернулся, — видно, Вадик рассудил, что с меня хватит, и остановил его. Минут пять я стоял и, всхлипывая, смотрел на полянку, где снова началась игра, затем спустился по другой стороне холма к ложбинке, затянутой вокруг черной крапивой, упал на жесткую сухую траву и, не сдерживаясь больше, горько, навзрыд заплакал.

Не было в тот день и не могло быть во всем белом свете человека несчастнее меня.

Утром я со страхом смотрел на себя в зеркало: нос вспух и раздулся, под левым глазом синяк, а ниже его, на щеке, изгибается жирная кровавая ссадина. Как идти в школу в таком виде, я не представлял, но как-то идти надо было, пропускать по какой бы то ни было причине уроки я не решался. Допустим, носы у людей и от природы случаются почище моего, и если бы не привычное место, ни за что не догадаешься, что это нос, но ссадину и синяк ничем оправдать нельзя: сразу видно, что они красуются тут не по моей доброй воле.

Прикрывая глаз рукой, я юркнул в класс, сел за свою парту и опустил

голову. Первым уроком, как назло, был французский. Лидия Михайловна, по праву классного руководителя, интересовалась нами больше других учителей, и скрыть от нее что-либо было трудно. Она входила, здоровалась, но до того, как посадить класс, имела привычку внимательным образом осматривать почти каждого из нас, делая будто бы и шутливые, но обязательные для исполнения замечания. И знаки на моем лице она, конечно, увидела сразу, хоть я, как мог, и прятал их; я понял это потому, что на меня стали оборачиваться ребята.

— Ну вот, — сказала Лидия Михайловна, открывая журнал. — Сегодня среди нас есть раненые.

Класс засмеялся, а Лидия Михайловна снова подняла на меня глаза. Они у нее косили и смотрели словно бы мимо, но мы к тому времени уже научились распознавать, куда они смотрят.

— И что случилось? — спросила она.

— Упал, — брякнул я, почему-то не догадавшись заранее придумать хоть мало-мальски приличное объяснение.

— Ой, как неудачно. Вчера упал или сегодня?

— Сегодня. Нет, вчера вечером, когда темно было.

— Хи, упал, — выкрикнул Тишкин, захлебываясь от радости. — Это ему Вадик из седьмого класса поднес. Они на деньги играли, а он стал спорить и заработал. Я же видел. А говорит — упал.

Я остолбенел от такого предательства. Он что — совсем ничего не понимает, или это он нарочно? За игру на деньги у нас в два счета могли выгнать из школы. Доигрался. В голове у меня от страха все всполошилось и загудело: пропал, теперь пропал. Ну, Тишкин. Вот Тишкин так Тишкин. Обрадовал. Внес ясность — нечего сказать.

— Тебя, Тишкин, я хотела спросить совсем другое, — не удивляясь и не меняя спокойного, чуть безразличного тона, остановила его Лидия Михайловна. — Иди к доске, раз уж ты разговорился, и приготовься отвечать. — Она подождала, пока растерявшийся, ставший сразу несчастным, Тишкин выйдет к доске, и коротко сказала мне: — После уроков останешься.

Больше всего я боялся, что Лидия Михайловна потащит меня к директору. Это значит, что, кроме сегодняшней беседы, завтра меня выведут перед школьной линейкой и заставят рассказывать, что меня побудило заниматься этим грязным делом. Директор, Василий Андреевич, так и спрашивал провинившегося, чтобы он ни натворил, — разбил окно, подрался или курил в уборной: «Что тебя побудило заниматься этим грязным делом?» Он расхаживал перед линейкой, закинув руки за спину, вынося вперед в такт широким шагам плечи, так, что казалось, будто наглухо застегнутый, оттопыривающийся темный френч двигается

самостоятельно чуть наперед директора, и подгонял: «Отвечай, отвечай. Мы ждем. Посмотри, вся школа ждет, что ты нам скажешь». Ученик начинал в свое оправдание что-то бормотать, но директор обрывал его: «Ты мне на вопрос отвечай, на вопрос. Как был задан вопрос?» — «Что меня побудило?» — «Вот именно: что побудило? Слушаем тебя».

Дело обычно заканчивалось слезами, лишь после этого директор успокаивался, и мы расходились на занятия. Труднее было со старшеклассниками, которые не хотели плакать, но и не могли ответить на вопрос Василия Андреевича.

Однажды первый урок у нас начался с опозданием на десять минут, и все это время директор допрашивал одного девятиклассника, но, так и не добившись от него ничего вразумительного, увел к себе в кабинет.

А что, интересно, скажу я? Лучше бы сразу выгоняли. Я мельком, чуть коснувшись этой мысли, подумал, что тогда я смогу вернуться домой, и тут же, словно обжегшись, испугался: нет, с таким позором и домой нельзя. Другое дело — если бы я сам бросил школу... Но и тогда про меня можно сказать, что я человек ненадежный, раз не выдержал того, что хотел, а тут и вовсе меня станет чураться каждый. Нет, только не так. Я бы еще потерпел здесь, я бы привык, но так домой ехать нельзя.

После уроков, замирая от страха, я ждал Лидию Михайловну в коридоре. Она вышла из учительской и, кивнув, завела меня в класс. Как всегда, она села за стол, я хотел устроиться за третьей партой, подальше от нее, но Лидия Михайловна показала мне на первую, прямо перед собой.

— Это правда, что ты играешь на деньги? — сразу начала она. Она спросила слишком громко, мне казалось, что в школе об этом нужно говорить только шепотом, и я испугался еще больше. Но запереться никакого смысла не было, Тишкин успел продать меня с потрохами. Я промямлил:

— Правда.

— Ну и как — выигрываешь или проигрываешь?

Я замялся, не зная, что лучше.

— Давай рассказывай, как есть. Проигрываешь, наверно?

— Вы... выигрываю.

— Хорошо, хоть так. Выигрываешь, значит. И что ты делаешь с деньгами?

В первое время в школе я долго не мог привыкнуть к голосу Лидии Михайловны, он сбивал меня столку. У нас в деревне говорили, запахивая голос глубоко в нутро, и потому звучал он вволюшку, а у Лидии Михайловны он был каким-то мелким и легким, так что в него приходилось вслушиваться, и не от бессилия вовсе — она иногда могла сказать и всласть, а словно бы от притаённости и ненужной экономии. Я готов был свалить все

на французский язык: конечно, пока училась, пока принаравливалась к чужой речи, голос без свободы сел, ослаб, как у птички в клетке, жди теперь, когда он опять разойдется и окрепнет. Вот и сейчас Лидия Михайловна спрашивала так, будто была в это время занята чем-то другим, более важным, но от вопросов ее все равно было не уйти.

— Ну, так что ты делаешь с деньгами, которые выигрываешь? Покупаешь конфеты? Или книги? Или копишь на что-нибудь? Ведь у тебя их, наверное, теперь много?

— Нет, не много. Я только рубль выигрываю.

— И больше не играешь?

— Нет.

— А рубль? Почему рубль? Что ты с ним делаешь?

— Покупаю молоко.

— Молоко?

Она сидела передо мной аккуратная вся, умная и красивая, красивая и в одежде, и в своей женской молодой поре, которую я смутно чувствовал, до меня доходил запах духов от нее, который я принимал за самое дыхание; к тому же она была учительницей не арифметики какой-нибудь, не истории, а загадочного французского языка, от которого тоже исходило что-то особое, сказочное, неподвластное любому-каждому, как, например, мне. Не смея поднять глаза на нее, я не посмел и обмануть ее. Да и зачем, в конце концов, мне было обманывать?

Она помолчала, рассматривая меня, и я кожей почувствовал, как при взгляде ее косящих внимательных глаз все мои беды и несуразности прямо-таки взбухают и наливаются своей дурной силой. Посмотреть, конечно, было на что: перед ней крючился на парте тощий диковатый мальчишка с разбитым лицом, неопрятный без матери и одинокий, в старом, застиранном пиджачишке на обвислых плечах, который впору был на груди, но из которого далеко вылезали руки; в перешитых из отцовских галифе и заправленных в чирки ¹ марких светло-зеленых штанах со следами вчерашней драки. Я еще раньше заметил, с каким любопытством поглядывает Лидия Михайловна на мою обутку ². Из всего класса в чирках ходил только я. Лишь на следующую осень, когда я наотрез отказался ехать в них в школу, мать продала швейную машину, единственную нашу ценность, и купила мне кирзовые сапоги.

— И все-таки на деньги играть не надо, — задумчиво сказала Лидия Михайловна. — Обошелся бы ты как-нибудь без этого. Можно обойтись?

Не смея поверить в свое спасение, я легко пообещал:

— Можно.

Я говорил искренне, но что поделаешь, если искренность нашу нельзя привязать веревками.

Справедливости ради, надо сказать, что в те дни мне пришлось совсем плохо. Колхоз наш по сухой осени рано рассчитался с хлебосдачей, и дядя Ваня больше не приезжал. Я знал, что дома мать места себе не находит, переживая за меня, но мне от этого было не легче. Мешок картошки, привезенный в последний раз дядей Ваней, испарился так быстро, будто ею кормили, по крайней мере, скот. Хорошо еще, что, спохватившись, я догадался немножко припрятать в стоящей во дворе заброшенной сараюшке, и вот теперь только этой притайкой и жил. После школы, крадучись, как вор, я шмыгал в сараюшку, совал несколько картофелин в карманы и убегал за улицу, в холмы, чтобы где-нибудь в удобной и скрытой низинке развести огонь. Мне все время хотелось есть, даже во сне я чувствовал, как по моему желудку прокатываются судорожные волны.

В надежде наткнуться на новую компанию игроков, я стал потихоньку обследовать соседние улицы, бродил по пустырям, следил за ребятами, которых заносило в холмы. Все было напрасно, сезон кончился, подули холодные октябрьские ветры. И только на нашей полянке по-прежнему продолжали собираться ребята. Я кружил неподалеку, видел, как взблескивает на солнце шайба, как, размахивая руками, командует Вадик и склоняются над кассой знакомые фигуры.

В конце концов я не выдержал и спустился к ним. Я знал, что иду на унижение, но не меньшим унижением было раз и навсегда смириться с тем, что меня избили и выгнали. Меня зудило посмотреть, как отнесутся к моему появлению Вадик и Птаха и как смогу держать себя я. Но больше всего подгонял голод. Мне нужен был рубль — уже не на молоко, а на хлеб. Других путей раздобыть его я не знал.

Я подошел, и игра сама собой приостановилась, все уставились на меня. Птаха был в шапке с подвернутыми ушами, сидящей, как и все на нем, беззаботно и смело, в клетчатой, навывпуск рубахе с короткими рукавами; Вадик форсил в красивой толстой куртке с замком. Рядом, сваленные в одну кучу, лежали фуфайки и пальтишки, на них, сжавшись под ветром, сидел маленький, лет пяти-шести, мальчишка.

Первым встретил меня Птаха:

— Чего пришел? Давно не били?

— Играть пришел, — как можно спокойней ответил я, глядя на Вадика.

— Кто тебе сказал, что с тобой, — Птаха выругался, — будут тут играть?

— Никто.

— Что, Вадик, сразу будем бить или подождем немножко?

— Чего ты пристал к человеку, Птаха? — щурясь на меня, сказал Вадик. — Понял, человек играть пришел. Может, он у нас с тобой по десять

рублей хочет выиграть?

— У вас нет по десять рублей, — только чтобы не казаться себе трусом, сказал я.

— У нас есть больше, чем тебе снилось. Ставь, не разговаривай, пока Птаха не рассердился. А то он человек горячий.

— Дать ему, Вадик?

— Не надо, пусть играет. — Вадик подмигнул ребятам. — Он здорово играет, мы ему в подметки не годимся.

Теперь я был ученый и понимал, что это такое — доброта Вадика. Ему, видно, надоела скучная, неинтересная игра, поэтому, чтобы пощекотать себе нервы и почувствовать вкус настоящей игры, он и решил допустить в нее меня. Но как только я затрону его самолюбие, мне опять не поздоровится. Он найдет, к чему придраться, рядом с ним Птаха.

Я решил играть осторожно и не зариться на кассу. Как и все, чтобы не выделяться, я катал шайбу, боясь ненароком угодить в деньги, потом тихонько тюкал по монетам и оглядывался, не зашел ли сзади Птаха. В первые дни я не позволял себе мечтать о рубле; копеек двадцать — тридцать, на кусок хлеба, и то хорошо, и то давай сюда.

Но то, что должно было рано или поздно случиться, разумеется, случилось. На четвертый день, когда, выиграв рубль, я собрался уйти, меня снова избили. Правда, на этот раз обошлось легче, но один след остался: у меня сильно вздулась губа. В школе приходилось ее постоянно прикусывать. Но как ни прятал я ее, как ни прикусывал, а Лидия Михайловна разглядела. Она нарочно вызвала меня к доске и заставила читать французский текст. Я его с десятью здоровыми губами не смог бы правильно произнести, а об одной и говорить нечего.

— Хватит, ой, хватит! — испугалась Лидия Михайловна и замахала на меня, как на нечистую силу, руками. — Да что же это такое?! Нет, придется с тобой заниматься отдельно. Другого выхода нет.

¹ *Чёрки* — самодельная обувь.

² *Обу́тка* — здесь: обувь.

* * *

Так начались для меня мучительные и неловкие дни. С самого утра я со страхом ждал того часа, когда мне придется остаться наедине с Лидией Михайловной и, ломая язык, повторять вслед за ней неудобные для произношения, придуманные только для наказания слова. Ну, зачем еще, как не для издевательства, три гласные сливать в один толстый тягучий звук, то же «о», например, в слове «веаиссир» (много), которым можно подавиться? Зачем с каким-то пристомом пускать звуки через нос, когда

испокон веков он служил человеку совсем для другой надобности? Зачем? Должны же существовать границы разумного. Я покрывался потом, краснел и задыхался, а Лидия Михайловна без передышки и без жалости заставляла меня мозолить бедный мой язык. И почему меня одного? В школе сколько угодно было ребят, которые говорили по-французски ничуть не лучше, чем я, однако они гуляли на свободе, делали, что хотели, а я, как проклятый, отдувался один за всех.

Оказалось, что и это еще не самое страшное. Лидия Михайловна вдруг решила, что времени в школе у нас до второй смены остается в обрез, и сказала, чтобы я по вечерам приходил к ней на квартиру. Жила она рядом со школой, в учительских домах. На другой, большей половине дома Лидии Михайловны жил сам директор.

Я шел туда как на пытку. И без того от природы робкий и стеснительный, теряющийся от любого пустяка, в этой чистенькой, аккуратной квартире учительницы я в первое время буквально каменел и боялся дышать. Мне надо было говорить, чтобы я раздевался, проходил в комнату, садился, — меня приходилось передвигать, словно вещь, и чуть ли не силой добывать из меня слова. Моим успехам во французском это никак не способствовало. Но, странное дело, мы и занимались здесь меньше, чем в школе, где нам будто бы мешала вторая смена. Больше того, Лидия Михайловна, хлопоча что-нибудь по квартире, расспрашивала меня или рассказывала о себе. Подозреваю, что она нарочно для меня придумала, будто пошла на французский факультет потому лишь, что в школе этот язык ей тоже не давался и она решила доказать себе, что может овладеть им не хуже других.

Забившись в угол, я слушал, не чая дожидаться, когда меня отпустят домой. В комнате было много книг, на тумбочке у окна стоял большой красивый радиоприемник с проигрывателем — редкое по тем временам, а для меня и вовсе невиданное чудо. Лидия Михайловна ставила пластинки, и ловкий мужской голос опять-таки учил французскому языку. Так или иначе, от него никуда было не деться. Лидия Михайловна в простом домашнем платье, в мягких войлочных туфлях ходила по комнате, заставляя меня вздрагивать и замирать, когда она приближалась ко мне. Я никак не мог поверить, что сижу у нее в доме, все здесь было для меня слишком неожиданным и необыкновенным, даже воздух, пропитанный легкими и незнакомыми запахами, иной, чем я знал, жизни. Невольно создавалось ощущение, словно я подглядываю эту жизнь со стороны, и от стыда и неловкости за себя я еще глубже запахивался в свой кургузый пиджачишко...

Лидии Михайловне тогда было, наверное, лет двадцать пять или около того; я хорошо помню ее правильное и потому не слишком живое лицо с

прищуренными, чтобы скрыть в них косинку, глазами; тугую, редко раскрывающуюся до конца улыбку и совсем черные, коротко остриженные волосы. Но при всем этом не было видно в ее лице жёсткости, которая, как я позже заметил, становится с годами чуть ли не профессиональным признаком учителей, даже самых добрых и мягких по натуре, а было какое-то осторожное, с хитринкой, недоумение, относящееся к ней самой и словно говорившее: интересно, как я здесь очутилась и что я здесь делаю? <...>

Стыдно сейчас вспомнить, как я пугался и терялся, когда Лидия Михайловна, закончив наш урок, звала меня ужинать. Будь я тысячу раз голоден, из меня пулей тут же выскакивал всякий аппетит. Садиться за один стол с Лидией Михайловной! Нет, нет! Лучше я к завтрашнему дню наизусть выучу весь французский язык, чтобы никогда больше сюда не приходиться. Кусок хлеба, наверное, и вправду застрял бы у меня в горле. Кажется, до того я не подозревал, что и Лидия Михайловна тоже, как все мы, питается самой обыкновенной едой, а не какой-нибудь манной небесной, — насколько она представлялась мне человеком необыкновенным, не похожим на всех остальных.

Я вскакивал и, бормоча, что сыт, что не хочу, пятился вдоль стенки, к выходу. Лидия Михайловна смотрела на меня с удивлением и обидой, но остановить меня никакими силами было невозможно. Я убежал. Так повторялось несколько раз, затем Лидия Михайловна, отчаявшись, перестала приглашать меня за стол. Я вздохнул свободней.

Однажды мне сказали, что внизу, в раздевалке, для меня лежит посылка, которую занес в школу какой-то мужик. Дядя Ваня, конечно, наш шофер, — какой еще мужик! Наверное, дом у нас был закрыт, а ждать меня с уроков дядя Ваня не мог — вот и оставил в раздевалке. Я с трудом дотерпел до конца занятий и кинулся вниз. Тетя Вера, школьная уборщица, показала мне на стоящий в углу белый фанерный ящик, в каких снаряжают посылки по почте. Я удивился: почему в ящике? — мать обычно отправляла еду в обыкновенном мешке. Может быть, это и не мне вовсе? Нет, на крышке были выведены мой класс и моя фамилия. Видно, написал уже здесь дядя Ваня — чтобы не перепутали для кого. Что это мать выдумала заколачивать продукты в ящик?! Глядите, какой интеллигентной стала!

Нести посылку домой, не узнав, что в ней, я не мог: не то терпение. Ясно, что там не картошка. Для хлеба тара тоже, пожалуй, маловата, да и неудобна. К тому же хлеб мне отправляли недавно, он у меня еще был. Тогда что там? Тут же, в школе, я забрался под лестницу, где, помнил, лежит топор, и, отыскав его, оторвал крышку. Под лестницей было темно, я вылез обратно и, воровато озираясь, поставил ящик на ближний подоконник.

Заглянув в посылку, я обомлел: сверху, прикрытые аккуратно большим белым листом бумаги, лежали макароны. Вот это да! Длинные желтые трубочки, уложенные одна к другой ровными рядами, вспыхнули на свету таким богатством, дороже которого для меня ничего не существовало. Теперь понятно, почему мать собрала ящик: чтобы макароны не поломались, не крошились, прибыли ко мне в целости и сохранности. Я осторожно вынул одну трубочку, глянул, дунул в нее и, не в состоянии больше сдерживаться, стал жадно хрумкать. Потом таким же образом взялся за вторую, за третью, размышляя, куда бы мне спрятать ящик, чтобы макароны не достались чересчур прожорливым мышам в кладовке моей хозяйки. Не для того мать их покупала, тратила последние деньги. Нет, макаронами я так просто не поущусь. Это вам не какая-нибудь картошка.

И вдруг я поперхнулся. Макароны... Действительно, где мать взяла макароны? Сроду их у нас в деревне не было, ни за какие шиши их там купить нельзя. Это что же тогда получается? Торопливо, в отчаянии и надежде, я разгреб макароны и нашел на дне ящичка несколько больших кусков сахара и две плитки гематогена. Гематоген подтвердил: посылку отправляла не мать. Кто же в таком случае, кто? Я еще раз взглянул на крышку: мой класс, моя фамилия — мне. Интересно, очень интересно.

Я втиснул гвозди крышки на место и, оставив ящик на подоконнике, поднялся на второй этаж и постучал в учительскую. Лидия Михайловна уже ушла. Ничего, найдем, знаем, где живет, бывали. Значит, вот как: не хочешь садиться за стол — получай продукты на дом. Значит, так. Не выйдет. Больше никому. Это не мать: она бы и записку не забыла вложить, рассказала бы, откуда, с каких приисков взялось такое богатство.

Когда я бочком влез с посылкой в дверь, Лидия Михайловна приняла вид, что ничего не понимает. Она смотрела на ящик, который я поставил перед ней на пол, и удивленно спрашивала:

— Что это? Что такое ты принес? Зачем?

— Это вы сделали, — сказал я дрожащим, срывающимся голосом.

— Что я сделала? О чем ты?

— Вы отправили в школу эту посылку. Я знаю, вы.

Я заметил, что Лидия Михайловна покраснела и смутилась. Это был тот единственный, очевидно, случай, когда я не боялся смотреть ей прямо в глаза. Мне было наплевать, учительница она или моя троюродная тетка. Тут спрашивал я, а не она, и спрашивал не на французском, а на русском языке, без всяких артиклей. Пусть отвечает.

— Почему ты решил, что это я?

— Потому что у нас там не бывает никаких , макарон. И гематогену не бывает.

— Как! Совсем не бывает?! — она изумилась так искренне, что

выдала себя с головой.

— Совсем не бывает. Знать надо было.

Лидия Михайловна вдруг засмеялась и попыталась меня обнять, но я отстранился от нее.

— Действительно, надо было знать. Как же это я так?! — Она на минутку задумалась. — Но тут и догадаться трудно было — честное слово! Я же городской человек. Совсем, говоришь, не бывает? Что же у вас тогда бывает?

— Горох бывает. Редька бывает.

— Горох... редька... А у нас на Кубани яблоки бывают. Ох, сколько сейчас там яблок. Я нынче хотела поехать на Кубань, а приехала почему-то сюда. — Лидия Михайловна вздохнула и покосилась на меня. — Не злись. Я же хотела, как лучше. Кто знал, что можно попасться на макаронах? Ничего, теперь буду умнее. А макароны эти ты возьми...

— Не возьму, — перебил я ее.

— Ну зачем ты так? Я знаю, что ты голодаешь. А я живу одна, денег у меня много. Я могу покупать, что захочу, но ведь мне одной... Я и ем-то помаленьку, боюсь потолстеть.

— Я совсем не голодаю.

— Не спорь, пожалуйста, со мной, я знаю. Я говорила с твоей хозяйкой. Что плохого, если ты возьмешь сейчас эти макароны и сваришь себе сегодня хороший обед? Почему я не могу тебе помочь — единственный раз в жизни? Обещаю больше никаких посылок не подсовывать. Но эту, пожалуйста, возьми. Тебе надо обязательно есть досыта, чтобы учиться. Сколько у нас в школе сытых лоботрясов, которые ни в чем ничего не соображают и никогда, наверное, не будут соображать, а ты способный мальчишка, школу тебе бросать нельзя.

Ее голос начинал на меня действовать усыпляюще; я боялся, что она меня уговорит, и, сердясь на себя за то, что понимаю правоту Лидии Михайловны, и за то, что собираюсь ее все-таки не понять, я, мотая головой и бормоча что-то, выскочил за дверь.

Уроки наши на этом не прекратились, я продолжал ходить к Лидии Михайловне. Но теперь она взялась за меня по-настоящему. Она, видимо, решила: ну что ж, французский так французский. Правда, толк от этого выходил, постепенно я стал довольно сносно выговаривать французские слова, они уже не обрывались у моих ног тяжелыми булыжниками, а, позванивая, пытались куда-то лететь.

— Хорошо, — подбадривала меня Лидия Михайловна. — В этой четверти пятерка еще не получится, а в следующей — обязательно.

О посылке мы не вспоминали, но я на всякий случай держался настороже. Мало ли что Лидия Михайловна возьмется еще придумать? Я по себе знал: когда что-то не выходит, все сделаешь для того, чтобы вышло, так просто не отступишься. Мне казалось, что Лидия Михайловна все время ожидающе присматривается ко мне, а присматриваясь, посмеивается над моей диковатостью, — я злился, но злость эта, как ни странно, помогала мне держаться уверенней. Я уже был не тот безответный и беспомощный мальчишка, который боялся ступить здесь шагу, помаленьку я привыкал к Лидии Михайловне и к ее квартире. Все еще, конечно, стеснялся, забивался в угол, пряча свои чирки под стул, но прежние скованность и угнетенность отступали, теперь я сам осмеливался задавать Лидии Михайловне вопросы и даже вступать с ней в споры.

Она сделала еще попытку посадить меня за стол — напрасно. Тут я был непреклонен, упрямства во мне хватало на десятерых.

Наверное, уже можно было прекратить эти занятия на дому, самое главное я усвоил, язык мой обмяк и зашевелился, остальное со временем добавилось бы на школьных уроках. Впереди годы да годы. Что я потом стану делать, если от начала до конца выучу все одним разом? Но я не решался сказать об этом Лидии Михайловне, а она, видимо, вовсе не считала нашу программу выполненной, и я продолжал тянуть свою французскую ляжку. Впрочем, ляжку ли? Как-то невольно и незаметно, сам того не ожидая, я почувствовал вкус к языку и в свободные минуты без всякого понукания лез в словарь, заглядывал в дальние в учебнике тексты. Наказание превращалось в удовольствие. Меня еще подстегивало самолюбие: не получалось — получится, и получится — не хуже, чем у самых лучших. Из другого я теста, что ли? Если бы еще не надо было ходить к Лидии Михайловне... Я бы сам, сам...

Однажды, недели через две после истории с посылкой, Лидия Михайловна, улыбаясь, спросила:

— Ну, а на деньги ты больше не играешь? Или где-нибудь собираетесь в сторонку да поигрываете?

— Как же сейчас играть?! — удивился я, показывая взглядом за окно, где лежал снег.

— А что это была за игра? В чем она заключается?

— Зачем вам? — насторожился я.

— Интересно. Мы в детстве когда-то тоже иг рали. Вот и хочу знать, та это игра или нет. Расскажи, расскажи, не бойся.

— Чего мне бояться?!

Я рассказал, умолчав, конечно, про Вадика, про Птаху и о своих маленьких хитростях, которыми я пользовался в игре.

— Нет, — Лидия Михайловна покачала головой. — Мы играли в

«пристеноч». Знаешь, что это такое?

— Нет.

— Вот смотри. — Она легко выскочила из-за стола, за которым сидела, отыскала в сумочке монетки и отодвинула от стены стул. — Иди сюда, смотри. Я бью монетой о стену. — Лидия Михайловна легонько ударила, и монета, зазвенев, дугой отлетела на пол. — Теперь, — Лидия Михайловна сунула мне вторую монетку в руку, — бьешь ты. Но имей в виду: бить надо так, чтобы твоя монета оказалась как можно ближе к моей. Чтобы их можно было замерить, достать пальцами одной руки. По-другому игра называется: замеряшки. Достанешь — значит, выиграл. Бей.

Я ударил — моя монета, попав на ребро, покатила в угол.

— О-о, — махнула рукой Лидия Михайловна. — Далек. Сейчас ты начинаешь. Учти: если моя монета заденет твою, хоть чуточку, краешком, — я выигрываю вдвойне. Понимаешь?

— Чего тут непонятного?

— Сыграем?

Я не поверил своим ушам:

— Как же я с вами буду играть?

— А что такое?

— Вы же учительница!

— Ну и что? Учительница — так другой человек, что ли? Иногда надоедает быть только учительницей, учить и учить без конца. Постоянно одергивать себя: то нельзя, это нельзя. — Лидия Михайловна больше обычного прищурила глаза и задумчиво, отстраненно смотрела в окно. — Иной раз полезно забыть, что ты учительница, — не то такой сделаешься бякой и букой, что живым людям скучно с тобой станет. Для учителя, может быть, самое важное — не принимать себя всерьез, понимать, что он может научить совсем немногому. — Она встряхнулась и сразу повеселела. — А я в детстве была отчаянной девчонкой, родители со мной натерпелись. Мне и теперь еще часто хочется прыгать, скакать, куда-нибудь мчаться, что-нибудь делать не по программе, не по расписанию, а по желанию. Я тут, бывает, прыгаю, скачу. Человек стареет не тогда, когда он доживает до старости, а когда перестает быть ребенком. Я бы с удовольствием каждый день прыгала, да за стенкой живет Василий Андреевич. Он очень серьезный человек. Ни в коем случае нельзя, чтобы он узнал, что мы играем в «замеряшки».

— Но мы не играем ни в какие «замеряшки». Вы только мне показали.

— Мы можем сыграть так просто, как говорят, понарошку. Но ты все равно не выдавай меня Василию Андреевичу.

Господи, что творится на белом свете! Давно ли я до смерти боялся, что Лидия Михайловна за игру на деньги потащит меня к директору, а

теперь она просит, чтобы я не выдавал ее. Светопреставление — не иначе. Я озирался, неизвестно чего пугаясь, и растерянно хлопал глазами.

— Ну что — попробуем? Не понравится — бросим.

— Давайте, — нерешительно согласился я.

— Начинай.

Мы взялись за монеты. Видно было, что Лидия Михайловна когда-то действительно играла, а я только-только примеривался к игре, я еще не выяснил для себя, как бить монетой о стену — ребром ли, или плашмя, на какой высоте и с какой силой когда лучше бросать. Мои удары шли вслепую; если бы мы вели счет, я бы на первых же минутах проиграл довольно много, хотя ничего хитрого в этих «замеряшках» не было. Больше всего меня, разумеется, стесняло и угнетало, не давало мне освоиться то, что я играю с Лидией Михайловной. Ни в одном сне не могло такое присниться, ни в одной дурной мысли подуматься. Я опомнился не сразу и не легко, а когда опомнился и стал понемножку присматриваться к игре, Лидия Михайловна взяла и остановила ее.

— Нет, так неинтересно, — сказала она, выпрямляясь и убирая съехавшие на глаза волосы. — Играть — так по-настоящему, а то что мы с тобой как трехлетние малыши.

— Но тогда это будет игра на деньги, — несмело напомнил я.

— Конечно. А что мы с тобой в руках держим? Игру на деньги ничем другим подменить нельзя. Этим она хороша и плоха одновременно. Мы можем договориться о совсем маленькой ставке, а все равно появится интерес.

Я молчал, не зная, что делать и как быть.

— Неужели боишься? — подзадоривала меня Лидия Михайловна.

— Вот еще! Ничего я не боюсь.

У меня была с собой кой-какая мелочишка. Я отдал монету Лидии Михайловне и достал из кармана свою. Что ж, давайте играть по-настоящему, Лидия Михайловна, если хотите. Мне-то что — не я первый начал. Вадик попервости на меня тоже ноль внимания, а потом опомнился, полез с кулаками. Научился там, научусь и здесь. Это не французский язык, а я и французский скоро к зубам приберу.

Мне пришлось принять одно условие: поскольку рука у Лидии Михайловны больше и пальцы длиннее, она станет замерять большим и средним пальцами, а я, как и положено, большим и мизинцем. Это было справедливо, и я согласился.

Игра началась заново. Мы перебрались из комнаты в прихожую, где было свободнее, и били о ровную дощатую заборку. Били, опускались на колени, ползали по полу, задевая друг друга, растягивали пальцы, замеряя монеты, затем опять поднимались на ноги, и Лидия Михайловна объявляла

счет. Играла она шумно: вскрикивала, хлопала в ладоши, поддразнивала меня — одним словом, вела себя как обыкновенная девчонка, а не учительница, мне даже хотелось порой на нее прикрикнуть. Но выигрывала тем не менее она, а я проигрывал. Я не успел опомниться, как на меня набежало восемьдесят копеек, с большим трудом мне удалось скостить этот долг до тридцати, но Лидия Михайловна издали попала своей монетой на мою, и счет сразу подскочил до пятидесяти. Я начал волноваться. Мы договорились расплачиваться по окончании игры, но, если дело и дальше так пойдет, моих денег уже очень скоро не хватит, их у меня чуть больше рубля. Значит, за рубль переваливать нельзя — не то позор и стыд на всю жизнь.

И тут я неожиданно заметил, что Лидия Михайловна и не старается вовсе у меня выигрывать. При замерах ее пальцы горбились, не выстилаясь во всю длину, — там, где она якобы не могла дотянуться до монеты, я дотянулся без всякой натуги. Это меня обидело, и я поднялся.

— Нет, — заявил я, — так я не играю. Зачем вы мне подыгрываете? Это нечестно.

— Но я действительно не могу их достать, — стала отказываться она. — У меня пальцы какие-то деревянные.

— Можете.

— Хорошо, хорошо, я буду стараться.

Не знаю, как в математике, а в жизни самое лучшее доказательство — от противного. Когда на следующий день я увидел, что Лидия Михайловна, чтобы коснуться монеты, исподтишка подталкивает ее к пальцу, я обомлел. Взглядывая на меня и почему-то не замечая, что я прекрасно вижу ее чистой воды мошенничество, она как ни в чем не бывало продолжала двигать монету.

— Что вы делаете? — возмутился я.

— Я? А что я делаю?

— Зачем вы ее подвинули?

— Да нет же, она тут и лежала, — самым бессовестным образом, с какой-то даже радостью отперлась Лидия Михайловна, ничуть не хуже Вадика или Птахи.

Вот это да! Учительница называется! Я своими собственными глазами на расстоянии двадцати сантиметров видел, что она трогала монету, а она уверяет меня, что не трогала, да еще и смеется надо мной. За слепого, что ли, она меня принимает? За маленького? Французский язык преподает, называется. Я тут же напрочь забыл, что всего вчера Лидия Михайловна пыталась подыграть мне, и следил только за тем, чтобы она меня не обманула. Ну и ну! Лидия Михайловна, называется.

В этот день мы занимались французским минут пятнадцать —

двадцать, а затем и того меньше. У нас появился другой интерес. Лидия Михайловна заставляла меня прочесть отрывок, делала замечания, по замечаниям выслушивала еще раз, и мы, не мешкая, переходили к игре. После двух небольших проигрышей я стал выигрывать. Я быстро приловчился к «замеряшкам», разобрался во всех секретях, знал, как и куда бить, что делать в роли разыгрывающего, чтобы не подставить свою монету под замер.

И опять у меня появились деньги. Опять я бегал на базар и покупал молоко — теперь уже в мороженных кружках. Я осторожно срезал с кружка наплыв сливок, совал рассыпающиеся ледяные ломтики в рот и, ощущая во всем теле их сытую сладость, закрывал от удовольствия глаза. Затем переворачивал кружок вверх дном и долбил ножом сладковатый молочный отстой. Остаткам позволял растаять и выпивал их, заедая куском черного хлеба. Ничего, жить можно было, а в скором будущем, как залечим раны войны, для всех обещали счастливое время.

Конечно, принимая деньги от Лидии Михайловны, я чувствовал себя неловко, но всякий раз успокаивался тем, что это честный выигрыш. Я никогда не напрашивался на игру, Лидия Михайловна предлагала ее сама. Отказаться я не смел. Мне казалось, что игра доставляет ей удовольствие, она веселела, смеялась, тормошила меня.

Знать бы нам, чем это все кончится...

...Стоя друг против друга на коленях, мы заспорили о счете. Перед тем тоже, кажется, о чем-то спорили.

— Пойми ты, голова садовая, — наползая на меня и размахивая руками, доказывала Лидия Михайловна, — зачем мне тебя обманывать? Я веду счет, а не ты, я лучше знаю. Я трижды подряд проиграла, а перед тем была «чика».

— «Чика» несчитово.

— Почему это несчитово?

— У вас тоже была «чика».

Мы кричали, перебивая друг друга, когда до нас донесся удивленный, если не сказать, поражённый, но твёрдый, звенящий голос:

— Лидия Михайловна!

Мы замерли. В дверях стоял Василий Андреевич.

— Лидия Михайловна, что с вами? Что здесь происходит?

Лидия Михайловна медленно, очень медленно, поднялась с колен, покрасневшая и взлохмаченная, и, пригладив волосы, сказала:

— Я, Василий Андреевич, надеялась, что вы постучите, прежде чем входить сюда.

— Я стучал. Мне никто не ответил. Что здесь происходит? Объясните, пожалуйста. Я имею право знать как директор...

— Играем в «пристенок», — спокойно ответила Лидия Михайловна.

— Вы играете на деньги с этим?.. — Василий Андреевич ткнул в меня пальцем, и я со страху пополз за перегородку, чтобы укрыться в комнате. — Играете с учеником? Я правильно вас понял?

— Правильно.

— Ну, знаете... — директор задыхался, ему не хватало воздуха. — Я теряюсь сразу назвать ваш поступок. Это преступление. Раствление. Сокращение. И еще, еще... Я двадцать лет работаю в школе, видывал всякое, но такое...

И он воздел над головой руки.

Через три дня Лидия Михайловна уехала. Накануне она встретила меня после школы и проводила до дому.

— Поеду к себе на Кубань, — сказала она, прощаясь. — А ты учись спокойно, никто тебя за этот дурацкий случай не тронет. Тут виновата я. Учись, — она потрепала меня по голове и ушла.

И больше я ее никогда не видел.

Среди зимы, уже после январских каникул, мне пришла на школу по почте посылка. Когда я открыл ее, достав опять топор из-под лестницы, — аккуратными, плотными рядами в ней лежали трубочки макарон. А внизу в толстой ватной обертке я нашел три красных яблока.

Раньше я видел яблоки только на картинках, но догадался, что это они.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Осуждает или оправдывает автор своего героя?
2. Чем интересен для вас этот рассказ?
3. Когда и как началась у героя самостоятельная жизнь? Какие испытания ожидали его? Что означает признание мальчика: «Но самое страшное начиналось, когда я приходил из школы»?
4. Почему герой рассказа стал играть в «чику»? Как относятся к этой игре Вадик и рассказчик?
5. Найдите слова, передающие состояние мальчика в тот момент, когда Вадик и Птах избили его. Почему они это сделали?
6. Как вы думаете, почему именно рассказчика выбрала Лидия Михайловна для отдельных занятий? Случайно ли это? Постарайтесь вспомнить, как сама учительница объясняет это своему ученику.
7. Почему Лидия Михайловна решила на игру в «замеряшки» со своим учеником? Как вы расцениваете этот поступок? Что выдавало ее во время игры? Почему так пристально следил за игрой рассказчик? Чего

он боялся? Как это его характеризовало?

8. Объясните значение приведенных ниже слов и выражений: «притайка», «не зариться», «ненароком», «так просто не попустишь», «плашмя», «французский скоро к зубам приберу», «несчитово». Подберите к ним синонимы.
9. По рассказу В. Распутина «Уроки французского» поставлен телевизионный фильм. Какие сцены вам показались особенно удачными? Какое впечатление произвел главный герой? Таким ли вы его себе представляете?

БУЛАТ ШАЛВОВИЧ ОКУДЖАВА

(1924 — 1997)

Знаменитый русский, советский писатель, поэт, переводчик, драматург, композитор и исполнитель собственных песен. В его творческой копилке около двух сотен авторских песен, является одним из родоначальников жанра современной авторской песни.

Родился Булат Окуджава 9 мая 1924 года в Москве в семье, эмигрировавшей из Грузии. Первое образование в биографии Булата Окуджавы было получено в школе Тбилиси, но в русскоязычном классе. В 1940 году стал работать учеником токаря в Тбилиси. Во время Великой Отечественной войны добровольно отправился на фронт, где был ранен.

Первая песня Окуджавы была написана на Северо-Кавказском фронте в 1943 году, однако не сохранилась. Вторая песня в биографии Окуджавы была написана в 1946 году.

Высшее образование получил в государственном университете Тбилиси, по окончании которого стал работать учителем. В 1955 году вступил в КПСС, а в следующем году переехал в Москву. Первые выступления в биографии Окуджавы, на которых он пел песни на свои стихи и музыку, состоялись в 1956. Примерно в это время Булат сочиняет самые известные свои песни.

Литературная карьера Окуджавы привела его к работе в «Молодой гвардии» (редактором), «Литературной газете» (заведующим отделом). Позже стал членом Союза писателей СССР. Особо популярной стала песня Окуджавы «Здесь птицы не поют», исполненная в фильме «Белорусский вокзал».

Также за свою биографию Булат Окуджава сочинил множество песен для мультфильмов, кинофильмов, написал несколько повестей.

Первый альбом его песен вышел в 1968 году во Франции. В 1990-х

годах проживает преимущественно за границей. В 1997 году скончался в парижской больнице.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Прочитайте вступительную статью. Что вы узнали из неё о жизни Булата Окуджавы?

ДАВАЙТЕ ГОВОРИТЬ ДРУГ ДРУГУ КОМПЛИМЕНТЫ...

Давайте восклицать, друг другом восхищаться,
Высокопарных слов не надо опасаться.
Давайте говорить друг другу комплименты -
Ведь это все любви счастливые моменты.

Давайте горевать и плакать откровенно,
То вместе, то поврозь, а то попеременно.
Не нужно придавать значения злословью -
Поскольку грусть всегда соседствует с любовью.

Давайте понимать друг друга с полуслова,
Чтоб, ошибившись, раз, не ошибиться снова.
Давайте жить, во всем другу потакая, -
Тем более что жизнь короткая такая.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Какова основная мысль стихотворения? К чему призывает поэт?
2. Выучите наизусть стихотворение Б. Окуджавы «Давайте говорить друг другу комплименты...».

МЫ ЗА ЦЕНОЙ НЕ ПОСТОИМ...

Здесь птицы не поют,
Деревья не растут,
И только мы плечом к плечу
Врастаем в землю тут.
Горит и кружится планета,
Над нашей родиной дым,

И, значит, нам нужна одна победа,
Одна на всех - мы за ценой не постоим.
Нас ждёт огонь смертельный,
И всё ж бессилён он.
Сомненья прочь, уходит в ночь отдельный
Десятый наш десантный батальон.
Едва огонь угас -
Звучит другой приказ,
И почтальон сойдёт с ума,
Разыскивая нас.
Взлетает красная ракета,
Бьёт пулемёт, неумолим...
И, значит, нам нужна одна победа,
Одна на всех - мы за ценой не постоим.
От Курска и Орла
Война нас довела
До самых вражеских ворот -
Такие, брат, дела.
Когда-нибудь мы вспомним это -
И не поверится самим...
А нынче нам нужна одна победа,
Одна на всех - мы за ценой не постоим.
Нас ждёт огонь смертельный,
И всё ж бессилён он.
Сомненья прочь, уходит в ночь отдельный
Десятый наш десантный батальон.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Каковы ваши первые впечатления после прочтения стихотворения?
2. Какие картины возникли при чтении?
3. Какому периоду истории России посвящено данное стихотворение?
Какова тема этого стихотворения?
4. Выучите наизусть стихотворение Б. Окуджавы «Мы за ценой не постоим...».

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Зарубежная литература – необыкновенно интересное чтение. Она знакомит читателя с иным миром, образом жизни, национальными особенностями характера, природой. Для русскоязычного читателя она существует в великолепных переводах и пересказах, и мы бы многое потеряли, если эти зарубежные произведения не дошли бы до нас. Творчество писателей разных стран открывает читателю широкую панораму мировой культуры, делают его гражданином мира.

Книги и герои Х. К. Андерсена, Д. Дефо, Дж. Лондона, В. Скотта, Р. Л. Стивенсона, М. Твена и многих других с раннего детства сопровождают нас наряду с национальными литературными произведениями.

ДАНИЕЛЬ ДЕФО

(1660 — 1731)

Даниель Дефо родился в Бристоле в семье торговца мясом Джеймса Фо (частицу «де» Даниель прибавил к своей фамилии, уже став взрослым). Отец хотел видеть своего сына священником и отдал его на обучение в духовную академию; здесь он изучил несколько иностранных языков, занимался историей, географией, астрономией.

Но священником Д. Дефо не стал. Он мечтал о путешествиях, хотел повидать мир, чужие страны. Он стал купцом, занимался торговлей, побывал в Испании, Португалии, Голландии, Франции, Италии. Богатства он не нажил и в коммерции не преуспел. Впоследствии и вовсе отошёл от торговли.

Его привлекала журналистика, и он постоянно размышлял над способами наилучшей организации жизни общества. Дефо был сторонником свободы слова и печати, придерживался демократических взглядов, считал, что личные качества человека гораздо важнее, чем знатное происхождение, что только личная доблесть, достойные поступки и честность возвышают человека. Д. Дефо выступал против несправедливых законов, наказывающих бедняков и защищающих богачей. Он стремился содействовать быстрейшему развитию Англии, её промышленности и торговли.

На склоне лет Дефо начал писать романы. Свой первый роман «Робинзон Крузо» он написал, когда ему было почти шестьдесят лет. Роман имел огромный успех, и тогда Дефо принялся за его продолжение, рассказав во второй и третьей частях романа обо всём, что случилось с Робинзоном уже после того, как он покинул необитаемый остров, на котором провёл

двадцать восемь лет своей жизни.

Среди многих описаний путешествий Робинзона рассказывается и о том, как он вместе с другими торговцами проехал через всю Сибирь, побывал в Тобольске, добрался до западных границ России, отправился к себе на родину — в Англию. В своих романах Дефо рассказывает о людях, которым приходится преодолевать много трудностей. Его героями становятся сироты, подкидыши, пираты, вынужденные вести борьбу за свою жизнь. Достоинство романов Дефо — в их верности жизни. Его герои деятельны, энергичны, умны.

«Робинзон Крузо» — удивительная книга! Она была написана очень давно — в 1719 году и сразу сделала Робинзона Крузо бессмертным. Дефо говорил, что в Робинзоне Крузо он изобразил самого себя, свою жизнь. Но не только свою. История Робинзона Крузо — это рассказ о том, как человек (им может быть каждый) в повседневном труде ведёт борьбу за существование, познаёт природу, учится обрабатывать землю, строить, мастерить, вести хозяйство. В этом смысле путь Робинзона проходит каждый. И всё чаще «Робинзонами» называют тех, кто действительно оказывается вдали от людей наедине с природой, и ему как бы снова приходится обустраивать свою жизнь, повторяя путь всего человечества от состояния дикости до создания человеческих условий существования.

По Н. П. Михальской

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Что вы можете рассказать о Даниеле Дефо — авторе «Робинзона Крузо»?

РОБИНЗОН КРУЗО

(Отрывок)

Глава шестая

Робинзон на необитаемом острове. — Он добывает вещи с корабля и строит себе жильё

Проснулся я поздно. Погода была ясная, ветер утих, море перестало бесноваться.

Я взглянул на покинутый нами корабль и с удивлением увидел, что на прежнем месте его уже нет. Теперь его прибило ближе к берегу. Он очутился неподалёку от той самой скалы, о которую меня чуть не расшибло волной. Должно быть, ночью его приподнял прилив, сдвинул с мели и пригнал сюда. Теперь он стоял не дальше мили от того места, где я ночевал. Волны, очевидно, не разбили его: он держался на воде почти прямо.

Я тотчас же решил пробраться на корабль, чтобы запастись провизией и разными другими вещами.

Спустившись с дерева, я ещё раз осмотрелся кругом. Первое, что я увидел, была наша шлюпка, лежавшая по правую руку, на берегу, в двух милях отсюда — там, куда её швырнул ураган. Я пошёл было в том направлении, но оказалось, что прямой дорогой туда не пройдёшь: в берег глубоко врезалась бухта, шириною в полмили, и преграждала путь. Я повернул назад, потому что мне было гораздо важнее попасть на корабль: я надеялся найти там еду.

После полудня волны совсем улеглись, и отлив был такой сильный, что четверть мили до корабля я шёл по сухому дну.

Тут снова у меня заныло сердце: мне стало ясно, что все мы теперь были бы живы, если бы не испугались бури и не покинули свой корабль. Нужно было только выждать, чтобы шторм прошёл, и мы благополучно добрались бы до берега, и я не был бы теперь вынужден бедствовать в этой безлюдной пустыне.

При мысли о своём одиночестве я заплакал, но, вспомнив, что слёзы никогда не прекращают несчастий, решил продолжать свой путь и во что бы то ни стало добраться до разбитого судна. Раздевшись, я вошёл в воду и поплыл.

Но самое трудное было ещё впереди: взобраться на корабль я не мог. Он стоял на мелком месте, так что почти целиком выступал из воды, а ухватиться было не за что. Я долго плавал вокруг него и вдруг заметил корабельный канат (удивляюсь, как он сразу не бросился мне в глаза!). Канат свешивался из люка, и конец его приходился так высоко над водой, что мне с величайшим трудом удалось поймать его. Я поднялся по канату до кúбрика¹. Подводная часть корабля была пробита, и трюм был наполнен водой. Корабль стоял на твёрдой песчаной отмели, корма его сильно приподнялась, а нос почти касался воды. Таким образом, вода не попала в корму, и ни одна из вещей, находившихся там, не подмокла. Я поспешил туда, так как мне раньше всего хотелось узнать, какие вещи испортились, а какие уцелели.

Оказалось, что весь запас корабельной провизии остался совершенно сухим. А так как меня мучил голод, то я первым делом пошёл в кладовую, набрал сухарей и, продолжая осмотр корабля, ел на ходу, чтобы не терять времени. В кают-компании я нашёл бутылку рома и отхлебнул из неё несколько хороших глотков, так как очень нуждался в подкреплении сил для предстоящей работы.

Прежде всего мне нужна была лодка, чтобы перевезти на берег те вещи, которые могли мне понадобиться. Но лодку было неоткуда взять, а желать невозможного бесполезно. Нужно было придумать что-нибудь

другое. На корабле были запасные мачты, стёньги ² и рёи ³. Из этого материала я решил построить плот и горячо принялся за работу.

Выбрав несколько бревён полегче, я выбросил их за борт, обвязав предварительно каждое бревно канатом, чтобы их не унесло. Затем я спустился с корабля, притянул к себе четыре бревна, крепко связал их с обоих концов, скрепив ещё сверху двумя или тремя дощечками, положенными накрест, и у меня вышло нечто вроде плота.

Меня этот плот отлично выдерживал, но для большого груза он был слишком лёгок и мал.

Пришлось мне снова взбираться на корабль. Там разыскал я пилу нашего корабельного плотника и распилил запасную мачту на три бревна, которые и приладил к плоту. Плот стал шире и гораздо устойчивее. Эта работа стоила мне огромных усилий, но желание заpastись всем необходимым для жизни поддерживало меня, и я сделал то, на что при обыкновенных обстоятельствах у меня не хватило бы сил.

Теперь мой плот был широк и крепок, он мог выдержать значительный груз.

Чем же нагрузить этот плот и что сделать, чтобы его не смыло приливом? Долго раздумывать было некогда, нужно было торопиться.

Раньше всего я уложил на плоту все доски, какие нашлись на корабле; потом взял три сундука, принадлежавших нашим матросам, взломал замки и выбросил всё содержимое. Потом я отобрал те вещи, которые могли понадобиться мне больше всего, и наполнил ими все три сундука. В один сундук я сложил съестные припасы: рис, сухари, три круга голландского сыру, пять больших кусков вяленой козлятины, служившей нам на корабле главной мясной пищей, и остатки ячменя, который мы везли из Европы для бывших на судне кур; кур мы давно уже съели, а немного зерна осталось. Этот ячмень был перемешан с пшеницей; он очень пригодился бы мне, но, к сожалению, как потом оказалось, был сильно попорчен крысами. Кроме того, я нашёл несколько ящичков вина и до шести галлонов ⁴ рисовой водки, принадлежащих нашему капитану.

¹ *Кубрик* — помещение для матросов в носовой части корабля.

² *Стёньга* – вертикальный брус, составляющий продолжение мачты.

³ *Рёя* – подвижной поперечный брус на мачтах.

⁴ *Галлон* – английская мера жидких тел, равна 3,78 литра.

Эти ящички я тоже поставил на плот, рядом с сундуками.

Между тем, куда я был занят погрузкой, начался прилив, и я с огорчением увидел, что мой кафтан, рубашку и камзол, оставленные мной

на берегу, унесло в море.

Теперь у меня остались только чулки да штаны (полотняные, короткие, до колен), которые я не снял, когда плыл к кораблю. Это заставило меня подумать о том, чтобы запастись не только едой, но и одеждой. На корабле было достаточное количество курток и брюк, но я взял пока одну только пару, потому что меня соблазняло гораздо больше многое другое, и прежде всего рабочие инструменты.

После долгих поисков я нашёл ящик нашего плотника, и это была для меня поистине драгоценная находка, которой я не отдал бы в то время за целый корабль, наполненный золотом. Я поставил на плот этот ящик, даже не заглянув в него, так как мне было отлично известно, какие инструменты находятся в нём.

Теперь мне оставалось запастись оружием и зарядами. В каюте я нашёл два хороших охотничьих ружья и два пистолета, которые я уложил на плоту вместе с пороховницей, мешочком дроби и двумя старыми, заржавленными шпагами. Я знал, что у нас на корабле было три бочонка пороху, но не знал, где они хранятся. Однако после тщательных поисков все три бочонка нашлись. Один оказался подмоченным, а два других были сухи, и я перетащил их на плот вместе с ружьями и шпагами. Теперь мой плот был достаточно нагружен, и надо было отправляться в путь. Добраться до берега на плоту без паруса, без руля — нелёгкая задача: довольно было самого слабого встречного ветра, чтобы всё моё сооружение опрокинулось.

К счастью, море было спокойно. Начинался прилив, который должен был погнать меня к берегу. Кроме того, поднялся небольшой ветерок, тоже попутный. Поэтому, захватив с собой сломанные вёсла от корабельной шлюпки, я поспешил в обратный путь. Вскоре мне удалось высмотреть маленькую бухту, к которой я и направил свой плот. С большим трудом я провёл его поперёк течения и наконец вошёл в эту бухту, упершись в дно веслом, едва начался отлив, мой плот со всем грузом оказался на сухом берегу.

Теперь мне предстояло осмотреть окрестности и выбрать себе удобное местечко для жилья — такое, где я мог бы сложить всё своё имущество, не боясь, что оно погибнет. Я всё ещё не знал, куда я попал: на материк или на остров. Живут ли здесь люди? Водятся ли здесь хищные звери? В полумиле от меня или немного дальше виднелся холм, крутой и высокий. Я решил подняться на него, чтобы осмотреться кругом. Взяв ружьё, пистолет и пороховницу, я отправился на разведку.

Взбираться на вершину холма было трудно. Когда же я наконец взобрался, я увидел, какая горькая участь выпала мне на долю: я был на острове! Кругом со всех сторон расстилалось море, за которым нигде не было видно земли; если не считать торчавших в отдалении нескольких

рифов да двух островков, лежавших в милях девяти к западу. Эти островки были маленькие, гораздо меньше моего.

Я сделал и другое открытие: растительность на острове была дикая, нигде не было видно ни клочка возделанной земли. Значит, людей здесь и в самом деле не было!

Хищные звери здесь тоже как будто не водились, по крайней мере я не заметил ни одного. Зато птицы водились во множестве, всё каких-то неизвестных мне пород, так что потом, когда мне случалось подстрелить птицу, я никогда не мог определить по виду, годится в пищу её мясо или нет.

Спускаясь с холма, я подстрелил одну птицу, очень большую: она сидела на дереве у опушки леса.

Я думаю, это был первый выстрел, раздавшийся в этих диких местах. Не успел я выстрелить, как над лесом взвилась туча птиц. Каждая кричала на свой лад, но ни один из этих криков не походил на крики знакомых мне птиц.

Убитая мною птица напоминала нашего европейского ястреба и окраской перьев, и формой клюва. Только когти у неё были гораздо короче. Мясо её отдавало падалью, и я не мог его есть.

Таковы были открытия, которые я сделал в первый день. Потом я воротился к плоту и принялся перетаскивать вещи на берег. Это заняло у меня весь остаток дня.

К вечеру я снова стал думать, как и где мне устроиться на ночь.

Лечь прямо на землю я боялся: что, если мне грозит нападение какого-нибудь хищного зверья? Поэтому, выбрав на берегу удобное местечко для ночлега, я загородил его со всех сторон сундуками и ящиками, а внутри этой ограды соорудил из досок нечто вроде шалаша.

Беспокоил меня также вопрос, как я буду добывать себе пищу, когда у меня выйдут запасы: кроме птиц да двух каких-то зверьков, вроде нашего зайца, выскочивших из лесу при звуке моего выстрела, никаких живых существ я здесь не видел.

Впрочем, в настоящее время меня гораздо больше занимало другое. Я увёз с корабля далеко не всё, что можно было взять: там осталось много вещей, которые могли мне пригодиться, и прежде всего паруса и канаты. Поэтому я решил, если мне ничто не помешает, снова побывать на корабле. Я был уверен, что при первой же буре его разобьёт в щепки. Нужно было отложить все другие дела и спешно заняться разгрузкой судна. Нельзя успокаиваться, пока я не свезу на берег все вещи, до последнего гвоздика.

Придя к такому решению, я стал думать, ехать ли мне на плоту или отправиться вплавь, как в первый раз. Я решил, что удобнее отправиться вплавь. Только на этот раз я разделся в шалаше, оставшись в одной нижней

клетчатой сорочке, в полотняных штанах и кожаных туфлях на босу ногу.

Как и в первый раз, я взобрался на корабль по канату, затем сколотил новый плот и перевёз на нём много полезных вещей. Во-первых, я захватил всё, что нашлось в чуланчике нашего плотника, а именно: два или три мешка с гвоздями (большими и мелкими), отвёртку, дюжины две топоров, а главное — такую полезную вещь, как точило. Потом я прихватил несколько вещей, найденных мною у нашего канонира ⁵: три железных лома, два бочонка с ружейными пулями и немного пороху. Потом я разыскал на корабле целый ворох всевозможного платья да прихватил ещё запасной парус, гамак, несколько тюфяков и подушек. Всё это я сложил на плоту и, к великому моему удовольствию, доставил на берег в целости.

Отправляясь на корабль, я боялся, как бы в моё отсутствие на провизию не напали бы какие-нибудь хищники. К счастью, этого не случилось.

Только какой-то зверёк прибежал из лесу и уселся на одном из моих сундуков. Увидев меня, он отбежал немного в сторону, но тотчас же остановился, встал на задние лапы и с невозмутимым спокойствием, без всякого страха поглядел мне в глаза, словно хотел познакомиться со мной.

Зверёк был красивый, похожий на дикую кошку. Я прицелился в него из ружья, но он, не догадываясь об угрожающей ему опасности, даже не тронулся с места. Тогда я бросил ему кусок сухаря, хотя это было с моей стороны неразумно, так как сухарей у меня было мало и мне следовало их беречь. Всё же зверёк так понравился мне, что я выделил ему этот кусок сухаря. Он подбежал, обнюхал сухарь, съел его и облизнулся с большим удовольствием. Видно было, что он ждёт продолжения. Но больше я не дал ему ничего. Он посидел немного и ушёл.

После этого я принялся строить себе палатку. Я сделал её из паруса и жердей, которые нарезал в лесу. В палатку я перенёс всё, что могло испортиться от солнца и дождя, а вокруг нагромоздил пустые ящики и сундуки, на случай внезапного нападения людей или диких зверей.

Вход в палатку я загородил снаружи большим сундуком, поставив его боком, а изнутри загородился до- снами. Затем я разостлал на земле постель, положил у изголовья два пистолета, рядом с постелью — ружьё и лёг.

После кораблекрушения это была первая ночь, которую я провёл в постели. Я крепко проспал до утра, так как в предыдущую ночь спал очень мало, а весь день работал без отдыха: сперва грузил вещи с корабля на плот, а потом переправлял их на берег.

Ни у кого, я думаю, не было такого огромного склада вещей, какой был теперь у меня. Но мне всё казалось мало. Корабль был цел, и куда не отнесло его в сторону, куда на нём оставалась хоть одна вещь, которой я мог воспользоваться, я считал необходимым свезти оттуда на берег всё, что

возможно. Поэтому каждый день я отправлялся туда во время отлива и привозил с собою всё новые и новые вещи.

Особенно успешным было моё третье путешествие. Я разобрал все снасти и взял с собой все верёвки. В этот раз я привёз большой кусок запасной парусины, служившей у нас для починки парусов, и бочонок с подмокшим порохом, который я было оставил на корабле. В конце концов я переправил на берег все паруса; только пришлось разрезать их на куски и перевезти по частям. Впрочем, я не жалел об этом: паруса были нужны мне отнюдь не для мореплавания, и вся их ценность заключалась для меня в парусине, из которой они были сшиты.

Теперь с корабля было взято решительно всё, что под силу поднять одному человеку. Остались только громоздкие вещи, за которые я и принялся в следующий рейс. Я начал с канатов. Каждый канат я разрезал на куски такой величины, чтобы мне не было слишком трудно управляться с ними, и по кускам перевёз три каната. Кроме того, я взял с корабля все железные части, какие мог отодрать при помощи топора. Затем, отрубив все оставшиеся реи, я построил из них плот побольше, погрузил на него все эти тяжести и пустился в обратный путь. Но на этот раз счастье изменило мне: мой плот был так тяжело нагружен, что мне было очень трудно им управлять.

Когда, войдя в бухточку, я подходил к берегу, где было сложено остальное моё имущество, плот опрокинулся, и я упал в воду со всем моим грузом. Утонуть я не мог, так как это произошло неподалёку от берега, но почти весь мой груз очутился под водой, главное, затонуло железо, которым я так дорожил.

Правда, когда начался отлив, я вытащил на берег почти все куски каната и несколько кусков железа, но мне приходилось нырять за каждым куском, и это очень утомило меня.

Мои поездки на корабль продолжались изо дня в день, и каждый раз я привозил что-нибудь новое.

Уже тринадцать дней я жил на острове и за это время побывал на корабле одиннадцать раз, перетаскивая на берег решительно всё, что в состоянии поднять пара человеческих рук. Не сомневаюсь, что, если бы тихая погода продержалась дольше, я перевёз бы по частям весь корабль.

Делая приготовления к двенадцатому рейсу, я заметил, что поднимается ветер. Тем не менее, дождавшись отлива, я отправился на корабль. Во время прежних своих посещений я так основательно обшарил нашу каюту, что мне казалось, будто там уже ничего невозможно найти. Но вдруг мне бросился в глаза маленький шкаф с двумя ящиками: в одном я нашёл три бритвы, ножницы и около дюжины хороших вилок и ножей; в другом ящике оказались деньги, частью европейской, частью бразильской

серебряной и золотой монетой — всего до тридцати шести фунтов стерлингов. Я усмехнулся при виде этих денег.

— Негодный мусор, — проговорил я, — на что ты мне теперь? Всю кучу золота я охотно отдал бы за любой из этих грошовых ножей. Мне некуда тебя девать. Так отправляйся же на дно морское. Если бы ты лежал на полу, право, не стоило бы труда нагибаться, чтобы поднять тебя. — Но, поразмыслив немного, я всё же завернул деньги в кусок парусины и прихватил их с собой.

Море бушевало всю ночь, и, когда поутру я выглянул из своей палатки, от корабля не осталось и следа. Теперь я мог всецело заняться вопросом, который тревожил меня с первого дня: что мне делать, чтобы на меня не напали ни хищные звери, ни дикие люди? Какое жильё мне устроить? Выкопать пещеру или поставить палатку? В конце концов я решил сделать и то и другое.

К этому времени мне стало ясно, что выбранное мною место на берегу не годится для постройки жилища: это было болотистое, низменное место, у самого моря. Жить в подобных местах очень вредно. К тому же поблизости не было пресной воды. Я решил найти другой клочок земли, более пригодный для жилья. Мне было нужно, чтобы жильё моё было защищено и от солнечного зноя, и от хищников; чтобы оно стояло в таком месте, где нет сырости; чтобы вблизи была пресная вода. Кроме того, мне непременно хотелось, чтобы из моего дома было видно море.

— Может случиться, что неподалёку от острова появится корабль, — говорил я себе, — а если я не буду видеть моря, я могу пропустить этот случай.

Как видите, мне всё ещё не хотелось расставаться с надеждой.

После долгих поисков я нашёл наконец подходящий участок для постройки жилища. Это была небольшая гладкая полянка на скате высокого холма. От вершины до самой полянки холм спускался отвесной стеной, так что я мог не опасаться нападения сверху. В этой стене у самой полянки было небольшое углубление, как будто вход в пещеру, но никакой пещеры не было. Вот тут-то, прямо против этого углубления, на зелёной полянке, я и решил разбить палатку. Место это находилось на северо-западном склоне холма, так что почти до самого вечера оно оставалось в тени. А перед вечером его озаряло заходящее солнце.

Прежде чем ставить палатку, я взял заострённую палку и описал перед самым углублением полукруг ярдов ⁶ десяти в диаметре. Затем по всему полукругу я вбил в землю два ряда крепких высоких кольев, заострённых на верхних концах. Между двумя рядами кольев я оставил небольшой промежуток и заполнил его до самого верха обрезками канатов, взятых с корабля. Я сложил их рядами, один на другой, а изнутри укрепил

ограду подпорками. Ограда вышла у меня на славу: ни пролезть сквозь неё, ни перелезть через неё не мог ни человек, ни зверь. Эта работа потребовала много времени и труда. Особенно трудно было нарубить в лесу жердей, перенести их на место постройки, обтесать и вбить в землю. Забор был сплошной, двери не было. Для входа в моё жилище мне служила лестница. Я приставлял её к частоколу всякий раз, когда мне нужно было войти или выйти.

⁵ *Канонір* – пушкарь, артиллерист.

⁶ *Ярд* — английская мера длины, равна 0,9144 метра.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Кто может назвать себя «робинзоном»? Какими качествами должен обладать такой человек?
2. Расскажите о Робинзоне. Что вы знаете об этом герое? Нравится ли вам его характер?
3. Прочитайте роман «Робинзон Крузо» целиком.
4. Как вы думаете, почему роман Даниеля Дефо стал одним из самых читаемых произведений мировой литературы.

ДЖЕК ЛОНДОН

(1876 — 1916)

Джек Лондон — американский писатель, родился в Сан-Франциско в семье разорившегося фермера. С детства он испытывал нужду и узнал труд; учась в школе, он зарабатывал продажей газет, затем работал на консервной фабрике, а в 14 лет, уйдя из дома, начал самостоятельную жизнь, полную приключений и лишений.

Лондон становится матросом на торговом судне; вернувшись в Америку из плавания, он сменяет множество профессий, скитается вместе с другими безработными по разным штатам, сидит в тюрьме за бродяжничество.

В 1897 году Лондон, захваченный «золотой лихорадкой», вызванной тем, что на Аляске (Клондайк) и в Северо-Западной Канаде было открыто золото, отправляется на далекий Север искать счастья. Север, суровая природа, нравы золотоискателей и индейцев дали Лондону богатый и свежий материал для многих его произведений, которые он создаёт, вернувшись на родину.

Тяга к хорошим книгам стала для будущего писателя важнейшей. Он

много писал, иногда по пятнадцать часов в сутки. Северные рассказы, которые он создавал на основе личных наблюдений и переживаний, полюбили публике. Сам писатель говорил: «Я верю в благородство и достоинство человека. Я верю, что духовность и бескорыстие займут место грубой жестокости и людоедства».

Начиная с 1900 года появляются сборники его рассказов о жизни золотоискателей и индейцев Севера, затем о путешествиях и приключениях в южных морях. Рассказы имеют большой успех. Лондон становится профессиональным писателем. Северные и морские рассказы Лондона составляют ряд сборников («Сын волка», «Дети мороза», «Сказки южных морей» и др.).

Джек Лондон оставил нам много хороших и разных книг о мужественных, смелых и благородных людях. Будем же читать их, будем помнить советы писателя: «Изучайте приёмы писателей, завоевавших известность. Они стали мастерами, и в их произведениях можно найти секреты их мастерства. Запишите заглавными буквами — РАБОТАТЬ, РАБОТАТЬ всё время. Старайтесь познать тайны Земли, Вселенной, материи и духа, мерцающего в этой материи, во всём — от ничтожной личинки до божества».

Согласны ли вы с этой мыслью автора? Прочитайте интереснейшую историю о Кише, которую рассказал нам Джек Лондон, подумайте, какой пример подаёт главный герой рассказа. Чему он учит нас?

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Вспомните даты жизни Джека Лондона.
2. Прочитайте вступительную статью. Что вы узнали из неё о жизни писателя?

СКАЗАНИЕ О КИШЕ

Давным-давно у самого Полярного моря жил Киш. Долгие и счастливые годы был он первым человеком в своём поселке, умер, окружённый почётом, и имя его было у всех на устах. Так много воды утекло с тех пор, что только старики помнят его имя, помнят и правдивую повесть о нём, которую они слышали от своих отцов и которую сами передадут своим детям и детям своих детей, а те — своим, и так она будет переходить из уст в уста до конца времён. Зимней полярной ночью, когда северная буря завывает над ледяными просторами, а в воздухе носятся белые хлопья и никто не смеет выглянуть наружу, хорошо послушать рассказ о том, как Киш, что вышел из самой бедной иглу¹, достиг почёта и

занял высокое место в своём поселке.

Киш, как гласит сказание, был смышлённым мальчиком, здоровым и сильным и видел уже тринадцать солнц. Так считают на Севере годы, потому что каждую зиму солнце оставляет землю во мраке, а на следующий год поднимается над землёй новое солнце, чтобы люди снова могли согреться и поглядеть друг другу в лицо.

Отец Киша был отважным охотником и встретил смерть в голодную годину, когда хотел отнять жизнь у большого полярного медведя, дабы даровать жизнь своим соплеменникам. Один на один он схватился с медведем, и тот переломал ему все кости; но на медведе было много мяса, и это спасло народ. Киш был единственным сыном, и, когда погиб его отец, он стал жить вдвоём с матерью. Но люди быстро всё забывают, забыли и о подвиге его отца, а Киш был всего только мальчик, мать его — всего только женщина, и о них тоже забыли, и они жили так, забытые всеми, в самой бедной иглу.

Но как-то вечером в большой иглу вождя Клош-Квана собрался совет, и тогда Киш показал, что в жилах у него горячая кровь, а в сердце — мужество мужчины, и он ни перед кем не станет гнуть спину. С достоинством взрослого он поднялся и ждал, когда наступит тишина и стихнет гул голосов.

— Я скажу правду, — так начал он. — Мне и матери моей даётся положенная доля мяса. Но это мясо часто бывает старое и жёсткое, и в нём слишком много костей.

Охотники — и совсем седые, и только начавшие сесть, и те, что были в расцвете лет, и те, что были ещё юны, — все разинули рот. Никогда не доводилось им слышать подобных речей. Чтобы ребёнок говорил, как взрослый мужчина, и бросал им в лицо дерзкие слова!

Но Киш продолжал твёрдо и сурово:

— Мой отец, Бок, был храбрым охотником, вот почему я говорю так. Люди рассказывают, что Бок один приносил больше мяса, чем любые два охотника, даже из самых лучших, что своими руками он делил это мясо и своими глазами следил за тем, чтобы самой старой старухе и самому хилому старику досталась справедливая доля.

— Вон его! — закричали охотники. — Уберите отсюда этого мальчишку! Уложите его спать. Мал он ещё разговаривать с седоголовыми мужчинами.

Но Киш спокойно ждал, пока не уляжется волнение.

¹ *Иглу* — хижина канадских эскимосов, сложенная из снежных плит.

— У тебя есть жена, Уг-Глук, — сказал он, — и ты говоришь за неё. А у тебя, Массук, — жена и мать, и за них ты говоришь. У моей матери нет никого, кроме меня, и потому говорю я. И я сказал: Бок погиб потому, что он был храбрым охотником, а теперь я, его сын, и Айкига, мать моя, которая была его женой, должны иметь вдоволь мяса до тех пор, пока есть вдоволь мяса у племени. Я, Киш, сын Бока, сказал.

Он сел, но уши его чутко прислушивались к буре протеста и возмущения, вызванной его словами.

— Разве мальчишка смеет говорить на совете? — прошамкал старый Уг-Глук.

— С каких это пор грудные младенцы стали учить нас, мужчин? — зычным голосом спросил Массук. — Или я уже не мужчина, что любой мальчишка, которому захотелось мяса, может смеяться мне в лицо?

Гнев их кипел ключом. Они приказали Кишу сейчас же идти спать, грозили совсем лишить его мяса, обещали задать ему жестокую порку за дерзкий поступок. Глаза Киша загорелись, кровь забурилась и жарким румянцем прилила к щекам. Осыпaeмый бранью, он вскочил с места.

— Слушайте меня, вы, мужчины! — крикнул он. — Никогда больше не стану я говорить на совете, никогда — прежде чем вы не придёте ко мне и не скажете: «Говори, Киш, мы хотим, чтобы ты говорил». Так слушайте же, мужчины, моё последнее слово. Бок, мой отец, был великий охотник. Я, Киш, его сын, тоже буду охотиться и приносить мясо и есть его. И знайте отныне, что делёж моей добычи будет справедлив. И ни одна вдова, ни один беззащитный старик не будут больше плакать ночью оттого, что у них нет мяса, в то время как сильные мужчины стонут от тяжкой боли, ибо съели слишком много. И тогда будет считаться позором, если сильные мужчины станут объедаться мясом! Я, Киш, сказал всё.

Насмешками и глумлением проводили они Киша, когда он выходил из иглу, но он стиснул зубы и пошёл своей дорогой, не глядя ни вправо, ни влево.

На следующий день он направился вдоль берега, где земля встречается со льдами. Те, кто видел его, заметили, что он взял с собой лук и большой запас стрел с костяными наконечниками, а на плече нёс большое охотничье копьё своего отца. И много было толков и много смеха по этому поводу. Это было невиданное событие. Никогда не случалось, чтобы мальчик его возраста ходил на охоту, да ещё один. Мужчины только покачивали головой да пророчески что-то бормотали, а женщины с сожалением смотрели на Айкигу, лицо которой было строго и печально.

— Он скоро вернётся, — сочувственно говорили женщины.

— Пусть идёт. Это послужит ему хорошим уроком, — говорили охотники. — Он вернётся скоро, тихий и покорный, и слова его будут

кроткими.

Но прошёл день и другой, и на третий поднялась жестокая пурга, а Киша всё не было. Айкига рвала на себе волосы и вымазала лицо сажей в знак скорби, а женщины горькими словами корили мужчин за то, что они плохо обошлись с мальчиком и послали его на смерть; мужчины же молчали, готовясь идти на поиски тела, когда утихнет буря.

Однако на следующий день рано утром Киш появился в посёлке. Он пришёл с гордо поднятой головой. На плече он нёс часть туши убитого им зверя. И поступь его стала надменной, а речь звучала дерзко.

— Вы, мужчины, возьмите собак и нарты и ступайте по моему следу, — сказал он. — За день пути отсюда найдёте много мяса на льду — медведицу и двух медвежат.

Айкига была вне себя от радости, он же принял её восторги, как настоящий мужчина, сказав:

— Идём, Айкига, надо поесть. А потом я лягу спать, потому что я устал. И он вошёл в иглу и сытно поел, после чего спал двадцать часов подряд.

Сначала было много сомнений, много сомнений и споров. Выйти на полярного медведя — дело опасное, но трижды и три раза трижды опаснее — выйти на медведицу с медвежатами. Мужчины не могли поверить, что мальчик Киш один, совсем один, совершил такой великий подвиг. Но женщины рассказывали о свежем мясе только что убитого зверя, которое принёс Киш, и это поколебало их недоверие. И вот, наконец, они отправились в путь, ворча, что если даже Киш и убил зверя, то, верно, он не позаботился освежевать его и разделать тушу. А на Севере это нужно делать сразу, как только зверь убит, — иначе мясо замёрзнет так крепко, что его не возьмёт даже самый острый нож; а взвалить мороженую тушу в триста фунтов на нарты и везти по неровному льду — дело нелёгкое. Но, придя на место, они увидели то, чему не хотели верить: Киш не только убил медведей, но рассёк туши на четыре части, как истый охотник, и удалил внутренности.

Так было положено начало тайне Киша. Дни шли за днями, и тайна эта оставалась неразгаданной. Киш снова пошёл на охоту и убил молодого, почти взрослого медведя, а в другой раз — огромного медведя-самца и его самку. Обычно он уходил на три-четыре дня, но бывало, что пропадал среди ледяных просторов и целую неделю. Он никого не хотел брать с собой, и народ только диву давался. «Как он это делает? — спрашивали охотники друг у друга. — Даже собаки не берёт с собой, а ведь собака — большая подмога на охоте».

— Почему ты охотишься только на медведя? — спросил его как-то Клош-Кван.

И Киш сумел дать ему надлежащий ответ:

— Кто же не знает, что только на медведе так много мяса.

Но в посёлке стали поговаривать о колдовстве.

— Злые духи охотятся вместе с ним, — утверждали одни. — Поэтому его охота всегда удачна. Чем же иначе можно это объяснить, как не тем, что ему помогают злые духи?

— Кто знает? А может, это не злые духи, а добрые? — говорили другие. — Ведь его отец был великим охотником. Может, он теперь охотится вместе с сыном и учит его терпению, ловкости и отваге. Кто знает!

Так или не так, но Киша не покидала удача, и нередко менее искусным охотникам приходилось доставлять в посёлок его добычу. И в дележе он был справедлив. Так же, как и отец его, он следил за тем, чтобы самый хилый старик и самая старая старуха получали справедливую долю, а себе оставлял ровно столько, сколько нужно для пропитания. И поэтому-то, и ещё потому, что он был отважным охотником, на него стали смотреть с уважением и побаиваться его и начали говорить, что он должен стать вождём после смерти старого Клош-Квана. Теперь, когда он прославил себя такими подвигами, все ждали, что он снова появится в совете, но он не приходил, а им было стыдно позвать его.

— Я хочу построить себе новую иглу, — сказал Киш однажды Клош-Квану и другим охотникам. — Это должна быть просторная иглу, чтобы Айкиге и мне было удобно в ней жить.

— Так, — сказали те, с важностью кивая головой.

— Но у меня нет на это времени. Моё дело — охота, и она отнимает всё моё время. Было бы справедливо и правильно, чтобы мужчины и женщины, которые едят мясо, что я приношу, построили мне иглу.

И они выстроили ему такую большую, просторную иглу, что она была больше и просторнее даже жилища самого Клош-Квана. Киш и его мать перебрались туда, и впервые после смерти Бока Айкига стала жить в довольстве. И не только одно довольство окружало Айкигу, — она была матерью замечательного охотника, и на неё смотрели теперь как на первую женщину в посёлке, и другие женщины посещали её, чтобы испросить у неё совета, и ссылались на её мудрые слова в спорах друг с другом или со своими мужьями.

Но больше всего занимала все умы тайна чудесной охоты Киша. И как-то раз Уг-Глук бросил Кишу в лицо обвинение в колдовстве.

— Тебя обвиняют, — зловеще сказал Уг-Глук, — в сношениях с злыми духами; вот почему твоя охота удачна.

— Разве вы едите плохое мясо? — спросил Киш. — Разве кто-нибудь в посёлке заболел от него? Откуда ты можешь знать, что тут замешано колдовство? Или ты говоришь наугад — просто потому, что тебя душит

зависть?

И Уг-Глук ушёл пристыженный, и женщины смеялись ему вслед. Но как-то вечером на совете после долгих споров было решено послать соглядатаев по следу Киша, когда он снова пойдёт на медведя, и узнать его тайну. И вот Киш отправился на охоту, а Бим и Боун, два молодых, лучших в посёлке охотника, пошли за ним по пятам, стараясь не попасться ему на глаза. Через пять дней они вернулись, дрожа от нетерпения, — так хотелось им поскорее рассказать то, что они видели. В жилище Клош-Квана был спешно созван совет, и Бим, тараща от изумления глаза, начал свой рассказ.

— Братья! Как нам было приказано, мы шли по следу Киша. И уж так осторожно мы шли, что он ни разу не заметил нас. В середине первого дня пути он встретился с большим медведем-самцом, и это был очень, очень большой медведь...

— Больше и не бывает, — перебил Боун и повёл рассказ дальше. — Но медведь не хотел вступать в борьбу, он повернул назад и стал не спеша уходить по льду. Мы смотрели на него со скалы на берегу, а он шёл в нашу сторону, и за ним, без всякого страха, шёл Киш. И Киш кричал на медведя, осыпал его бранью, размахивал руками и поднимал очень большой шум. И тогда медведь рассердился, встал на задние лапы и зарычал. А Киш шёл прямо на медведя...

— Да, да, — подхватил Бим. — Киш шёл прямо на медведя, и медведь бросился на него, и Киш побежал. Но когда Киш бежал, он уронил на лёд маленький круглый шарик, и медведь остановился, обнюхал этот шарик и проглотил его. А Киш всё бежал и всё бросал маленькие круглые шарики, а медведь всё глотал их.

Тут поднялся крик, и все выразили сомнение, а Уг-Глук прямо заявил, что он не верит этим сказкам.

— Собственными глазами видели мы это, — убеждал их Бим.

— Да, да, собственными глазами, — подтвердил и Боун. — И так продолжалось долго, а потом медведь вдруг остановился, завыл от боли и начал, как бешеный, колотить передними лапами о лёд. А Киш побежал дальше по льду и стал на безопасном расстоянии. Но медведю было не до Киша, потому что маленькие круглые шарики наделали у него внутри большую беду.

— Да, большую беду, — перебил Бим. — Медведь царапал себя когтями и прыгал по льду, словно разыгравшийся щенок.

Но только он не играл, а рычал и выл от боли, — и всякому было ясно, что это не игра, а боль. Ни разу в жизни я такого не видал.

— Да, и я не видал, — опять вмешался Боун. — А какой это был огромный медведь!

— Колдовство, — проронил Уг-Глук.

— Не знаю, — отвечал Боун. — Я рассказываю только то, что видели мои глаза. Медведь был такой тяжёлый и прыгал с такою силой, что скоро устал и ослабел, и тогда он пошёл прочь вдоль берега и всё мотал головой из стороны в сторону, а потом садился и рычал и выл от боли — и снова шёл. А Киш тоже шёл за медведем, а мы — за Кишем, и так мы шли весь день и ещё три дня. Медведь всё слабел и выл от боли.

— Это колдовство! — воскликнул Уг-Глук. — Ясно, что это колдовство!

— Всё может быть.

Но тут Бим опять сменил Боуна:

— Медведь стал кружить. Он шёл то в одну сторону, то в другую, то назад, то вперёд, то по кругу и снова и снова пересекал свой след и наконец пришёл к тому месту, где встретил его Киш. И тут он уже совсем ослабел и не мог даже ползти. И Киш подошёл к нему и прикончил его копьём.

— А потом? — спросил Клош-Кван.

— Потом Киш принялся свежевать медведя, а мы побежали сюда, чтобы рассказать, как Киш охотится на зверя.

К концу этого дня женщины притащили тушу медведя, в то время как мужчины собирали совет. Когда Киш вернулся, за ним послали гонца, приглашая его прийти тоже, но он велел сказать, что голоден и устал и что его иглу достаточно велика и удобна и может вместить много людей.

И любопытство было так велико, что весь совет во главе с Клош-Кваном поднялся и направился в иглу Киша. Они застали его за едой, но он встретил их с почётом и усадил по старшинству. Айкига то горделиво выпрямлялась, то в смущении опускала глаза, но Киш был совершенно спокоен.

Клош-Кван повторил рассказ Бима и Боуна и, закончив его, произнес строгим голосом:

— Ты должен дать нам объяснение, о Киш. Расскажи, как ты охотишься. Нет ли здесь колдовства?

Киш поднял на него глаза и улыбнулся.

— Нет, о Клош-Кван! Не дело мальчика заниматься колдовством, и в колдовстве я ничего не смыслю. Я только придумал способ, как можно легко убить полярного медведя, вот и всё. Это смекалка, а не колдовство.

— И каждый может сделать это?

— Каждый.

Наступило долгое молчание.

Мужчины глядели друг на друга, а Киш продолжал есть.

— И ты... ты расскажешь нам, о Киш? — спросил наконец Клош-Кван дрожащим голосом.

— Да, я расскажу тебе. — Киш кончил высасывать мозг из кости и

поднялся с места. — Это очень просто. Смотри!

Он взял узкую полоску китового уса и показал её всем. Концы у неё были острые, как иглы. Киш стал осторожно скатывать ус, пока он не исчез у него в руке; тогда он внезапно разжал руку, — и ус сразу распрямился. Затем Киш взял кусок тюленьего жира.

— Вот так, — сказал он. — Надо взять маленький кусочек тюленьего жира и сделать в нём ямку — вот так. Потом в ямку надо положить китовый ус — вот так, хорошенько его свернув, и закрыть его сверху другим кусочком жира. Потом это надо выставить на мороз, и, когда жир замёрзнет, получится маленький круглый шарик. Медведь проглотит шарик, жир растопится, острый китовый ус распрямится — медведю станет больно. А когда медведю станет очень больно, его легко убить копьём. Это совсем просто.

И Уг-Глук воскликнул:

— О!

И Клош-Кван сказал:

— А!

И каждый сказал по-своему, и все поняли.

Так кончается сказание о Кише, который жил давным-давно у самого Полярного моря. И потому, что Киш действовал смекалкой, а не колдовством, он из самой жалкой иглу поднялся высоко и стал вождём своего племени. И говорят, что, пока он жил, народ благоденствовал и не было ни одной вдовы, ни одного беззащитного старика, которые бы плакали ночью оттого, что у них нет мяса.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Кто главный герой рассказа? Каким вы его представляете? Что было самым главным в его характере? Почему его стали уважать люди? Почему он стал «первым человеком в своём посёлке, умер, окружённый почётом, и имя его было у всех на устах»?
2. Какие строки этого произведения говорят о том, что происходило это очень давно? Каким был отец Киша? Почему люди забыли о подвиге отца?
3. В чём была тайна Киша? Почему народ племени Киша благоденствовал?
4. Подготовьте рассказ о Кише, сопроводите его рисунками.
5. Как вы понимаете последнюю фразу этого рассказа: *И говорят, что, пока он жил, народ благоденствовал и не было ни одной вдовы, ни одного беззащитного старика, которые бы плакали ночью оттого, что у них нет мяса?* На какую причину благодарной памяти соплеменников о Кише указывают эти слова?

СОДЕРЖАНИЕ

Образное отражение жизни в литературе. Жанры литературы.	
В дорогу зовущие.....	3-4
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО.....	5-7
Сказки.....	—
Сказка «Кот и лиса» (Русская народная сказка).....	—
Сказка «Самое дорогое» (Русская народная сказка).....	10-12
ЛИТЕРАТУРНЫЕ СКАЗКИ.....	—
С. Т. Аксаков.....	13
С. Т. Аксаков «Аленький цветочек».....	—
ИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX	
ВЕКА.....	20
А. И. Крылов.....	—
Басня «Волк и Ягнёнок».....	22-23
А. С. Пушкин.....	—
А. С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге».....	26-30
А. С. Пушкин «Метель» (В сокращении).....	—
М. Ю. Лермонтов.....	37-38
М. Ю. Лермонтов «Три пальмы». Восточное сказание (В сокращении).....	39-40
М. Ю. Лермонтова «Бэла» (Отрывок из романа «Герой нашего времени»).....	—
И. С. Тургенев.....	47-48
И. С. Тургенев «Ася» (Отрывки в сокращении).....	—
А. П. Чехов.....	73-74
А. П. Чехов «Хирургия».....	—
ИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX	
ВЕКА.....	78
А. И. Куприн.....	—
А. И. Куприн «Олеся».....	79-129
С. А. Есенин.....	—
С. А. Есенин «Задремали звезды золотые...».....	130-131
С. А. Есенин «Ночь».....	—
Н. А. Заболоцкий.....	132-133
Н. А. Заболоцкий «Журавли».....	—
В. П. Астафьев.....	135
В. П. Астафьев «Где-то гремит война» (В сокращении).....	136-141
В. М. Шукшин.....	142-143
В. М. Шукшин «Жатва».....	—
СОВРЕМЕННЫЕ ПИСАТЕЛИ.....	146
В. Г. Распутин.....	—
В. Г. Распутин «Уроки французского».....	149-173

Б. Ш. Окуджава.....	—
Б. Ш. Окуджава «Давайте говорить друг другу комплименты...».....	174
Б. Ш. Окуджава «Мы за ценой не постоим ...».....	—
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	176
Д. Дефо.....	—
Д. Дефо «Робинзон Крузо» (Отрывок)	177-185
Д. Лондон.....	—
Д. Лондон «Сказание о Кише».....	186-193